

Сергея Солнышкин

АНОНИМНЫЙ ДОНОР

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Сереза Солнышкин

Анонимный донор

«Автор»

2026

Солнышкин С.

Анонимный донор / С. Солнышкин — «Автор», 2026

Инфекционная больница 13. Пятьсот сотрудников. Из них мужчин — одиннадцать. Остальные — женщины. После корпоратива программист Денис Капустин просыпается в ординаторской с ощущением, что кто-то подарил ему лучшую ночь в его жизни. В темноте. Без единого слова. На тумбочке — платок с незабудкой. На клавиатуре — записка: «Простите. Это была ошибка. А.Д.». Кто она — таинственная незнакомка? Денис начинает искать — и каждая женщина в больнице кажется ему подозреваемой. Но чем дальше он заходит, тем запутаннее становится след. Потому что кто-то знает каждый его шаг. Кто-то следит за ним. Кто-то ведёт игру, правил которой он не понимает. Эротический детектив о желании, одиночестве и женщине, которую никто не замечает.---

© Солнышкин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЧАСТЬ I	11
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЧАСТЬ II	18
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЧАСТЬ I	27
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЧАСТЬ II	38
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сереза Солнышкин

Анонимный донор

Пролог

В КОТОРОМ ЧИТАТЕЛЬ ВДЫХАЕТ ВОЗДУХ БОЛЬНИЦЫ И ЗНАКОМИТСЯ С ТЕМИ, КТО В НЕЙ ОБИТАЕТ

Инфекционная больница 13 пахнет плотью. Плотью, которую моют, режут, перевязывают, исследуют. Плотью, которая потеет под казёнными простынями и вздрагивает от прикосновения холодных пальцев в резиновых перчатках. Но не только этим. К запаху хлорки и лекарств примешивается нечто иное — аромат желанья, запертого в герметичные боксы, закатанного под крышки стерилизаторов, спрятанного в складки накрахмаленных халатов. Аромат, который не вытравить никаким дезодорантом.

Здесь каждый коридор — кишка, по которой течёт жизнь этого странного организма. Здесь лампы дневного света гудят низко и монотонно, как ласка, делящаясь слишком долго и не доходящая до финала. Здесь воздух густой от невысказанных слов, непролитых слёз и несостоявшихся объятий. А ещё — от сплетен. Сплетни здесь заменяют систему вентиляции: они циркулируют, обновляются, проникают в каждую щель. И, как любая сплетня, они часто указывают не на тех.

И поверх всего этого — поверх гула ламп, поверх грохота каталок, поверх приглушённого смеха из ординаторских — звучит один и тот же звук. Сухой треск клавиатуры из приёмной главврача. Быстрый, ритмичный, как сердцебиение. Как будто кто-то всё время печатает — и не может остановиться.

В этом замкнутом мире, оторванном от большой земли, как круизный лайнер, навсегда бросивший якорь, зреет не просто интрига — зреет плод, налитый тёмным, запретным соком. И когда он лопнет, брызги попадут на каждого. Но прежде — знакомство с теми, кто вкусит этот плод первыми.

ДЕНИС КАПУСТИН, 29 лет, программист

Мальчик, который вырос, но так и не научился застёгивать рубашку правильно. Тёмные волосы вечно взъерошены — то ли после сна, то ли после чьих-то пальцев. Карие глаза щурятся, высматривая в женщинах ту самую тайну, которую он мечтает разгадывать медленно, слой за слоем, как раздевают — не торопясь, смакуя каждый оттенок кожи. Поджарое тело под мятой футболкой — не атлета, но хищника, который ещё не знает, что он хищник. Имел женщин. Считает, что познал их. Глупец. Он смотрит сквозь одних и видит насквозь других, даже не подозревая, что главная загадка этой больницы, возможно, находится ближе, чем ему кажется. Но он привык искать яркое, а не настоящее. И в этом его главная ошибка.

АШОТ ГУРГЕНОВИЧ, 48 лет, начальник снабжения

Человек, чей живот появляется в дверном проёме за секунду до него самого. Его тело — храм гедонизма, и в этом храме круглосуточная служба. Живот, круглый и тугой, как барабан, на котором хочется сыграть ритм ночи. Лысина блестит, как шёлковое бельё, случайно выглянувшее из-под одежды. Двигается с неожиданной для такой туши грацией — есть в этом что-то от восточного танца, от томного покачивания бёдер. Его пальцы-сардельки нежно касаются коньячного бокала, сигары, женского плеча — всего, что обещает удовольствие. Женат, но брак для него — как обручальное кольцо для банщика: снимается при входе. Знает толк в утехах. Говорят, в его кабинете есть диван. Говорят, он скрипит. Говорят, по делу. И по самым разным делам — от поставок градусников до поставок удовольствия. Женщина-анестезия: он обезболивает их одиночество. И они благодарны ему — каждая по-своему.

ГЛЕБ АРКАДЬЕВИЧ СТРОГОВ, 58 лет, главный врач

Мужчина, созданный из мрамора и воли. Метр девяносто подавляющей мужественности, упакованной в строгий костюм. Плечи — платяной шкаф, в котором хочется запереться и забыть о мире. Руки — сухие, горячие, с длинными пальцами хирурга, который знает, как касаться не только скальпеля. Серые глаза смотрят холодно, но именно этот холод заставляет некоторых женщин мечтать о том, чтобы их согрели этим взглядом. Женат, но жена — бледная акварель на периферии его жизни. Живёт больницей. И его страсть к порядку столь же сильна, как у других — страсть к беспорядку в постели. Возможно, сильнее. Боится только одного — проверки из министерства. И, возможно, ещё кое-чего. Но об этом молчат даже стены его кабинета, обитые дубовыми панелями. И его секретарь. Которая не молчит, а просто не говорит.

ТАМАРА, 36 лет, секретарь главного врача

Сухарь. Функция. Приложение к телефону главного врача. Серый костюм, которому место в музее скуки. Очки в тяжёлой оправе, за которыми не видно ни проблеска жизни. Волосы стянуты в узел, затянутый с такой силой, что кажется — вместе с волосами стянуты и все её желания. Голос сухой, как прошлогодний гербарий. Отвечает на звонки. Подшивает папки. Ставит печати. Существует в режиме «вкл/выкл». Никто не замечает, когда она приходит. Никто не замечает, когда уходит. И никто — никогда — не замечал, что под серым, мешковатым пиджаком у неё шёлковая блузка цвета слоновой кости. Потому что никто не давал себе труда посмотреть. Идеальный винтик. Идеальная тень. Идеальное ничто. Единственная странность — её руки. Никто не смотрит на её руки. А зря. Иногда, когда она думает, что за ней не наблюдают, её пальцы — длинные, с безупречным маникюром — двигаются по клавиатуре с отточенной, почти музыкальной точностью. Как будто она играет на невидимом инструменте. Как будто под серым сукном её души звучит симфония, которую никто никогда не услышит. И в эту секунду кажется: она печатает не приказы, а нечто иное. Но это лишь догадка. Лишь тень догадки. Женщина-плацебо: все уверены, что она бесполезна, что она — просто мел в красивой упаковке. Но тот, кто примет её всерьёз, обнаружит, что исцелён.

Но не спешите ставить крест. Самые тихие воды скрывают самые глубокие омуты. Самые незаметные женщины скрывают самые жаркие вулканы. И когда этот вулкан проснётся — а он проснётся, — мало не покажется никому. Впрочем, это можно сказать о многих в этой больнице. О буфетчице, что плачет по ночам в подушку. О патологоанатоме, что слушает тяжёлый металл и видит в смерти больше красоты, чем в жизни. О практикантке, что боится всего — но больше всего боится того, что ждёт её в конце коридора. Каждая из них — спящий вулкан. Вопрос лишь в том, какой проснется первым.

РАИСА ЗАХАРОВНА, 44 года, старшая медсестра

Её грудь — не соблазн, а оружие устрашения. Четвёртый размер, закованный в броню медицинского халата, как в латы. Эта грудь не вздымается от страсти — она колыхнется от гнева. Бёдра — тараны. Руки способны удержать рожающую женщину, падающий шкаф и двух санитаров одновременно. Голос проникает под кожу и резонирует в костях. Даже пациенты в коме, говорят, вздрагивают, когда она проходит мимо. Боится только Строгова. При нём её броня даёт микротрещину. В эти моменты она почти женщина. Почти. И это «почти» она носит в себе, как яд. Женщина-симптом: она указывает на болезнь, но не лечит её.

ЭДУАРД БОРИСОВИЧ, 41 год, начальник отдела практики

Мужчина, который одевается не для того, чтобы скрыть тело, а чтобы подарить его, как драгоценность в изысканной упаковке. Высокий, изящный, с балетной осанкой и пальцами пианиста — длинными, ухоженными, с идеальным маникюром. Его движения текучи, как расплавленный шоколад. Его улыбка обещает то, о чём не говорят вслух в присутствии дам, но думают постоянно. Холост. Живёт один. Его личная жизнь — герметично закрытая шкатулка, к которой никто не может подобрать ключ. Но его взгляд, устремлённый на Дениса, задерживается на долю секунды дольше, чем следует. И в этой доле секунды — целая симфония невысказанных возможностей. Возможностей, о которых Денис предпочёл бы не знать. Но узнает. О, обязательно узнает. Мужчина-диагноз: он видит патологию там, где другие видят норму. И иногда ему кажется, что его собственная патология — в том, что он не такой, как все.

ЗИНАИДА ЛЬВОВНА, 60 лет, старшая буфетчица

Когда-то её тело знало ласки. Теперь оно знает только рецепты. Но не дайте этой бабушкиной внешности обмануть вас. Маленькая, уютная, с грудью, которая когда-то манила, а теперь просто удобно лежит на животике, как две забытые булочки. Её голос — тёплое молоко с мёдом и капелькой коньяка, который она добавляет только избранным. Знает всё обо всех. Её буфет — исповедальня. К ней приходят не за пирожками. Приходят излить душу. И она принимает эти излияния, как принимала когда-то совсем иные. Молчит. Кроме как с кошкой. Кошка знает всё. Кошка — единственное существо в больнице, которое видело Зинаиду Львовну в шёлковом пеньюаре. Кошка не осуждает. Кошка вообще многое видела. И если бы кошки умели говорить — о, какие бы имена она назвала. И какие бы детали: белый платок с голубой незабудкой, оставленный на тумбочке в ординаторской; паузу перед тем, как погасить свет; дрожь в пальцах, поправляющих очки. Но кошки молчат. И Зинаида Львовна молчит. Женщина-рецепт: она знает лекарство от каждого недуга, но своё — забыла.

ЛЕРА, 35 лет, врач-эпидемиолог

Женщина-пожар. Женщина-тайфун. Женщина-инфекция. Она проникает в кровь быстрее, чем любой возбудитель, и вызывает лихорадку, от которой нет лекарства. Женщина, которая вошла бы в горящий дом, чтобы спасти не ребёнка, а мужчину, которого она ещё не успела соблазнить. Брюнетка с каре до плеч и глазами, в которых пляшут черти, сатиры и все демоны похоти разом. Грудь — упругая, наглая, всегда в белье от кутюр, которое она носит как боевой раскрас. Бёдра — две волны, накатывающие на берег мужского самообладания. Её смех — резкий, гортанный, как крик ночной птицы. Была замужем. Муж сбежал, прихрамывая и оглядываясь. Она — стихийное бедствие, замаскированное под врача. В постели — ураган пятой

категории, после которого выжившие пишут мемуары. Но самое опасное в ней — она не умеет молчать. Совсем. Даже когда нужно. Особенно когда нужно.

ВЕРОНИКА, 30 лет, патологоанатом

Смерть ей к лицу. Худая, почти бесплотная, в чёрном с головы до пят. Чёрная чёлка закрывает лоб, оставляя открытыми тёмные провалы глаз — глубоких, как могилы, которые она изучает с профессиональным интересом. Грудь маленькая, мальчишеская, но именно эта андрогинность сводит с ума некоторых мужчин, уставших от избытка плоти. Она пахнет формалином и розами — странное сочетание, но ей идёт. Её пальцы, тонкие и бледные, знают прикосновения, от которых живые бледнеют, а мёртвые, кажется, краснеют. Слушает тяжёлый металл. Говорит, что работа — лучший муж: не храпит, не требует ужина и всегда холоден, как она любит. Но по ночам в её подвале горит свет. И не только из-за работы. У мёртвых есть свои секреты. У Вероники — свои. Женщина-патология: она ищет причину смерти — и иногда находит её там, где другие видят только жизнь.

АЛЁНА, 25 лет, лаборантка клинической лаборатории

Нежный росток, пробившийся сквозь асфальт больничного цинизма. Русые волосы мягкие, как детство. Серые глаза с длинными ресницами, трепещущими при каждом смущении. А смущается она часто — почти постоянно, как будто весь мир состоит из вещей, которые вгоняют её в краску. Её грудь — две маленькие чайные чашки, которые так и хочется согреть в ладонях. Талия тонкая, словно созданная для того, чтобы её обхватывали. Говорит тихо, почти шёпотом, и этот шёпот действует на мужчин сильнее, чем стоны других. Пахнет йодом и ромашкой — запах невинности, который пьянит сильнее любых духов. Верит в любовь. Не просто верит — ждёт её, как ждут первого причастия, с трепетом и ужасом. И однажды она её получит. Просто не от того, от кого ждала. Женщина-симптом: её румянец — как сыпь, которая выдает скрытую болезнь.

СВЕТОЧКА, 28 лет, процедурная медсестра

Ходячий праздник для глаз и искушение для рук. Крашенная блондинка с химией, которая держится на честном слове и дорогом шампуне. Грудь — третий размер, два весёлых мячика, живущих собственной жизнью под медицинской униформой. При ходьбе они подпрыгивают, заставляя пациентов забывать о диагнозах, а врачей — о клятве Гиппократова. Глаза голубые, с поволокой лёгкой глупости, которая не отталкивает, а манит. Замужем за дальнобойщиком. Он в рейсах. Она — в поиске. И находит. Всегда находит то, что ей не дарит муж: комплименты, подарки и долгие, томительные ночи в комнате отдыха после отбоя. Её любимый аромат — «Шанель 5». И, как выяснится, не только аромат она готова принимать с благодарностью. Женщина-доза: она отмеряет удовольствие порциями — и никогда не ошибается в дозировке.

СВЕТЛАНА, 38 лет, буфетчица

Вдова, чьё тело помнит ласки и требует продолжения банкета. Грудь четвёртого размера — два голубя под тканью блузки, которые воркуют о чём-то своём, запретном. Бёдра — пышные, зрелые, как августовские груши, истекающие сладким соком. Лицо румяное, приятное, с выражением вечной скромницы. Юбка ниже колена, кофта под горло — броня добродетели. Но под этой бронёй бушует вулкан, который она умиряет по ночам собственными руками. Считает, что порядочная женщина не должна делать некоторые вещи. Поэтому делает их в

одиночестве, со слезами на глазах и дрожью в бёдрах. И мечтает. О, как она мечтает. И однажды её мечта почти сбудется. Почти — потому что она окажется не той, кого ищут. Женщина-анамнез: она хранит память о прошлом — и это прошлое не даёт ей жить настоящим.

ГАЛИНА ПЕТРОВНА, 45 лет, повариха

Королева котлов и повелительница разделочных досок. Её грудь пятого размера — два арбуза, налитых августовским солнцем. Они покоятся на животе, как на прилавке, и колышутся при каждом движении венчиком. Руки сильные, в муке и масле, пахнут тестом и корицей. Эти руки могут замесить тесто на сто пирожков и скрутить в бараний рог мужа-сантехника. Готовит так, что пациенты симулируют рецидивы. Готовит так, что один старик отказался от выписки, сказав: «Лучше умереть сытым здесь, чем голодным дома». Замужем. Трое детей. И невероятная, животная харизма, которая заставляет мужчин ронять вилки в столовой. А некоторых — и не только вилки. Но её сердце принадлежит доставщику продуктов. И это дорого ей обходится. Женщина-терапия: она лечит голод — но не может вылечить свой собственный.

РУСТАМ, 30 лет, доставщик продуктов

Южный ветер в коридорах северной больницы. Жилистый, смуглый, с усами, которые пахнут табаком и мятой. Его глаза — два тёмных омота, в которых ничего не отражается, но всё тонет. Привозит продукты на рассвете, когда больница ещё спит и только ночные дежурные медсёстры томно смотрят в окна. По-русски говорит с акцентом, от которого у женщин слабеют колени. Смотрит так, будто раздевает. Молчит так, будто обещает. Его золотой зуб сверкает в полумраке, как намёк на то, что не все сокровища спрятаны в сейфах. Знает чёрные ходы. Знает, кто и когда выходит через них. Знает, что говорит на своём языке такие вещи, от которых его любовница покраснела бы, если бы понимала. Но она не понимает. И это его забавляет. О, как забавляет. Мужчина-доза: он отмеряет страсть граммами — и никогда не даёт больше, чем нужно.

КАТЯ, 21 год, практикантка

Детёныш, заблудившийся в джунглях инфекционной больницы. Маленькая, с ладной девичьей фигуркой, которая ещё не знает, что с ней делать. Грудь первого размера — две робкие почки, готовые распуститься от первого тёплого прикосновения. Глаза голубые, испуганные, как у лани, которая слышит выстрел, но ещё не видит охотника. Смеётся часто и не к месту — нервное. Носит розовые кроксы, которые сводят с ума Раису Захаровну. Боится пациентов. Боится врачей. Боится всего. Но самый большой её страх — тот, о котором она пока не догадывается. Тот, что ждёт её в конце коридора, за дверью с табличкой «Вход воспрещён». Впрочем, её ангел-хранитель — женщина с фиолетовыми чернилами — позаботится о том, чтобы этот страх никогда не стал реальностью. Женщина-вакцина: она ещё не знает болезни, но уже готова к ней. Почти.

Все они здесь. Все на своих местах.

Расставлены, как фигуры на шахматной доске.

Игра вот-вот начнётся.

И первый ход сделает тот, кого не замечают.

А таких в этой больнице — больше, чем кажется.

Потому что невидимость — это не отсутствие.

Это особая форма присутствия.

Самая опасная.
Самая непредсказуемая.
Самая... незабываемая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЧАСТЬ I

В КОТОРОЙ НАШ ГЕРОЙ УСТРАИВАЕТСЯ В БОЛЬНИЦУ И ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ — ЭТО ОСОБЫЙ ВИД ДЖУНГЛЕЙ

Если бы Денису Капустину кто-нибудь сказал, что инфекционная больница может стать местом самых эротических переживаний в его жизни, он бы покрутил пальцем у виска. Больница — это боль, запах хлорки, очереди в регистратуру и вечно хмурые врачи. Какая уж тут эротика? Эротика — это шёлк, полумрак, влажные губы и долгие взгляды. А не клизмы и градусники.

Но так он думал до того, как переступил порог инфекционной больницы № 13.

Здание стояло на отшибе — серый бетонный параллелепипед, окружённый чахлыми деревьями и вечной лужей у входа. Лужа была глубокая, тёмная, и в ней отражалось низкое небо — как будто под ногами разверзся вход в другое, влажное измерение, где всё перевёрнуто и всё возможно. Денис на мгновение замер у этой лужи, глядя в неё, и где-то в глубине его сознания шевельнулось смутное, беспричинное беспокойство — как будто он забыл что-то важное, что должен был помнить.

Стоило пройти через проходную, миновать высокий забор с колючей проволокой и строгого охранника, который изучал пропуск так, будто от этого зависела судьба человечества, — и больница открывалась с неожиданной, почти неприличной пышностью.

Она возвышалась посреди океана зелени — запущенного, но по-своему величественного больничного парка, — как огромный круизный лайнер, что навсегда бросил якорь вдали от большой земли. Многоэтажный, со своими палубами-этажами, переходами-трапами и иллюминаторами окон, за которыми шла своя, скрытая от посторонних глаз жизнь. Где-то на втором этаже хлопнула оконная рама, и ветер донёс обрывок женского смеха — гортанного, низкого, — который тут же оборвался, словно захлопнули дверь. Здесь, в этом замкнутом мире, люди жили по собственным законам — со своими страстями, интригами и тайнами, которые никогда не покидали пределов этого ковчега.

Внутри пахло медициной — спирт, хлорка, и ещё что-то неуловимое, от чего щекотало в носу и тревожно, сладко сжималось сердце. Что-то, что напоминало о близости обнажённых тел под больничными рубашками, о жарком шёпоте в палатах после отбоя, о тайных прикосновениях в процедурных кабинетах при выключенном свете. Коридоры были длинными, как жизненный путь, и такими же запутанными. Лампы дневного света мерцали с тихим, комариным жужжанием, и тени на стенах жили своей собственной, не зависящей от людей жизнью — они сплетались в объятия, расходились, сливались вновь, словно репетировали то, на что живые пока не решались. Под подошвами его ботинок линолеум отзывался глухим, вязким эхом, и звук этот был похож на удары сердца — размеренный, влажный, затягивающий.

В отделе кадров ему выдали пропуск, халат и направление к главврачу. Кабинет Строгова находился на четвёртом этаже. Когда Денис вошёл, главврач сидел за массивным столом и напоминал памятник самому себе — гранитное лицо, мраморные плечи, глаза-ртуть, в которых не отражалось ничего, кроме собственной воли.

— Капустин? — прогудел он голосом, который, казалось, рождался где-то в недрах его грудной клетки и долго блуждал по коридорам лёгких, прежде чем выйти наружу. — Программист. Садитесь.

Денис сел. Стул был жёсткий, неудобный, словно специально созданный для того, чтобы посетитель чувствовал себя неуютно и не задерживался дольше необходимого. Обивка была холодной даже сквозь ткань брюк — этот холод пробрался под кожу и остался там на весь день, как маленькое напоминание о том, что он здесь чужой.

— Значит так, — Строгов откинулся в кресле, и оно жалобно скрипнуло под его весом, издав звук, похожий на сдавленный стон. — Больница у нас специфическая. Пятьсот сотрудников. Из них мужчин — десять. С вами — одиннадцать. Остальные — женщины. Понимаете, что это значит?

— Понимаю, — сказал Денис, хотя на самом деле не понимал ничего. Он никогда не работал в женском коллективе. Ему казалось, что это будет похоже на гарем из восточных сказок: шёлк, благовония, покорные взгляды.

— Ни черта вы не понимаете, — усмехнулся Строгов, и его серые глаза на мгновение стали похожи на два озера ртути — холодные и текучие. — Женский коллектив — это вам не серверная. Там свои протоколы. Свои вирусы. Свои способы взлома. Они тихие. Как мыши. Пока не почувствуют слабину. А когда почувствуют — съедят с потрохами. Вы парень молодой, кровь горячая. Но вы для них — свежее мясо. Помните об этом. Будьте осторожны. И да — завтра у нас День основания. Явка обязательна. Познакомитесь с коллективом. В неформальной обстановке. Возможно, слишком неформальной.

— Я же ещё никого не знаю...

— Вот и узнаете. Сразу всех.

Когда Денис выходил из кабинета, ему показалось, что Строгов едва заметно улыбнулся — уголком рта, почти неуловимо. Но, возможно, это была лишь игра теней от настольной лампы.

В приёмной за столом, заваленным бумагами, сидела секретарша. Женщина лет сорока, а то и более, в сером, мешковатом костюме, который стирал любые намёки на фигуру — как ластиком прошлись по карандашному наброску обнажённой натуры. Тяжёлые очки в роговой оправе закрывали пол-лица. Русые с проседью волосы были собраны в тугую, болезненный пучок, от которого, казалось, натягивалась кожа на висках. Она даже не подняла головы, когда он вошёл. Даже не шелохнулась. Её пальцы бегали по клавиатуре с сухим, как осенние листья, треском.

Денис хотел поздороваться, но возникло странное чувство — как будто обращаться к ней так же нелепо, как заговорить с книжным шкафом. Как будто её здесь нет. Или как будто её нет нигде. Она была как предмет обстановки — функциональный, безличный, лишённый пола и возраста. Он одёрнул себя и вышел, чувствуя смутную неловкость, за которую не мог найти объяснения. Уже в коридоре он поймал себя на странной мысли: он не смог бы описать ни одну

черту её лица, кроме очков. Вся она была — отсутствие. Но почему-то именно это отсутствие засело в памяти острее, чем иное присутствие.

Остаток дня прошёл в суете. Денис осваивался в серверной — небольшой комнате без окон, заставленной гудящими машинами. Здесь пахло перегретым пластиком и пылью. Но ему здесь нравилось. Тихо. Никто не трогает. Только серверы гудят, как пчёлы в улье, и мигают зелёными огоньками, словно глаза неведомых существ, наблюдающих за ним из темноты. Этот механический гул проходил сквозь тело мягкой, низкочастотной вибрацией — Денис чувствовал его животом, грудью, костями. Как будто здание дышало, и его дыхание было ритмичным, машинным, безразличным ко всему живому.

Периодически заглядывали медсёстры — то принтер не работает, то компьютер завис. Он чинил, а сам смотрел на них. Женщины. Везде женщины. Молодые, пожилые, красивые, обычные, толстые, худые. Калейдоскоп плоти, упакованной в белые, зелёные и голубые халаты. От этого разнообразия кружилась голова, и Денис чувствовал себя как ребёнок в кондитерской, которому сказали: «Смотри сколько угодно, но руками не трогать». Но руки уже тянулись — не к женщинам, нет, просто в воздух, будто пытаясь ухватить это мелькание, эту плотность, эту недоступность.

Алёна из лаборатории заглянула попросить картридж. Тоненькая, русые волосы, серые глаза с длинными ресницами, которые трепетали при каждом слове. Грудь второго размера — две маленькие чайные чашки, деликатно очерченные под блузкой. Денис засмотрелся. Не просто засмотрелся — он устался, забыв обо всём, как мальчишка, впервые увидевший женское тело. Она заметила и покраснела — медленно, мучительно, как будто краска заливала её слюнями: сначала щёки, потом шея, потом ключицы, а потом — он готов был поклясться — рюмянец спустился ниже, под воротник блузки, к груди, которую он только что разглядывал. Она убежала, забыв картридж. Её шаги — частые, сбивчивые — ещё несколько секунд звучали в коридоре, и в их ритме было что-то похожее на испуганное сердцебиение. А он остался стоять с этим картриджем в руках, чувствуя себя дураком и завоевателем одновременно.

Лера-эпидемиолог прошла мимо серверной, даже не заглянув. Но она прошла так, что воздух в коридоре сдвинулся и ещё долго не мог успокоиться. Третий размер, бёдра — как у богини плодородия, высеченной из тёплого мрамора. От неё пахло дорогими духами — восточными, пряными, с нотой мускуса, которая обещала то, о чём приличные люди не говорят вслух. Каблуки её туфель выбивали по линолеуму дробь — чёткую, уверенную, как азбука Морзе, и эта дробь отдавалась у Дениса где-то в основании позвоночника. Она не заглянула — она проществовала, как крейсер под всеми парусами, и воздух после неё ещё долго дрожал, сохраняя тепло её тела. Денис поймал себя на том, что принюхивается к этому следу, как пёс. И тут же устыдился. Но запах остался в ноздрях на весь день, и от него было трудно избавиться.

Катя-практикантка заблудилась и попала в серверную случайно. Первый размер, розовые кроксы, глаза по пять копеек. От неё пахло жвачкой, страхом и чем-то ещё — тем особым запахом юности, который невозможно воспроизвести никакими духами. «Ой, извините!» — пискнула она и исчезла, оставив после себя только эхо своего испуга и лёгкий аромат клубничной жвачки. Её кроксы смешно проскрипели по линолеуму, и этот звук ещё долго стоял в ушах — трогательный и нелепый.

К концу дня Денис чувствовал себя как на выставке женщин. Или в зоопарке, где он — единственный самец в вольере. Мысль была одновременно волнующей и пугающей. Он

поймал себя на том, что начинает классифицировать женщин по размерам груди, как бабочек по размаху крыльев, и тут же устыдился этого. Но продолжал классифицировать. И под этим стыдом — тёплым, как подогретый коньяк, — зрело нечто иное. Предвкушение. Острое, почти болезненное, как голод, который не утолить едой.

Пятница. День основания больницы.

К пяти вечера официальная часть завершилась — Строгов зачитал приветствие сухим, командирским голосом, вручили грамоты, похлопали. Кто-то даже прослезился — но, скорее всего, от скуки. А к шести столовая превратилась в банкетный зал.

Столы ломились от еды. Пирожки Галины Петровны лежали горками, как груди великанши, присыпанные мукой. Соленья лоснились маслянистыми боками. Холодец дрожал при каждом шаге, как живой, и в его прозрачной глубине застыли веточки укропа — словно водоросли на дне янтарного моря. Ашот Гургенович лично руководил сервировкой. Его лысина блестела под лампами, как отполированное яблоко, живот колыхался при каждом шаге, но двигался он с грацией парохода — медленно и величественно, обходя препятствия с тем особым чутьём, которое свойственно только очень полным людям и очень опытным любовникам.

— Э, новенький! — загудел он, завидев Дениса, и его баритон прокатился по столовой, как тёплая волна. — Капустин, да? Садись, садись! У нас без формальностей. У нас — как в семье. Только лучше. Потому что в семье жена, а здесь — коньяк!

Он плеснул Денису в стакан янтарной, маслянистой жидкости. Коньяк пах дубом, ванилью и ещё чем-то неуловимым — может быть, корицей, может быть, тайной, может быть, обещанием. Капля скатилась по стенке стакана медленно, как слеза по щеке.

— За что пьём? — спросил Денис, уже предчувствуя ответ.

— За то, чтобы наши женщины были такими же сладкими, как этот коньяк, а наши мужчины — такими же крепкими!

Выпили. Коньяк обжёг горло и провалился в желудок тёплым, бархатным комком, от которого по всему телу разлилось приятное, чуть ленивое тепло. Стекло стакана, тёплое от руки, казалось живым на ощупь.

Женщины рассаживались за столами. Денис оглядел зал. Это было похоже на оживший каталог женских типов — или на гарем какого-то восточного владыки, который собирал свою коллекцию по принципу «все разные, но все прекрасны». Блондинки, брюнетки, рыжие. Молодые и зрелые. Стройные, как кипарисы, и пышные, как сдобные булки. Грудь всех размеров — от скромного первого, трогательного в своей беззащитности, до монументального пятого, который вызывал не столько вожделение, сколько почтительный трепет — колыхалась, вздымалась, притягивала взгляд. От смешения духов, пудры и разгорячённых тел воздух стал плотным, почти осязаемым — казалось, его можно резать ножом или пить, как густой ликёр.

Лера сидела напротив. Она была в облегающем платье цвета воронова крыла, которое подчёркивало всё, что можно подчеркнуть, и даже то, что, казалось бы, подчеркнуть невозможно. Ткань обтягивала её бёдра с нежностью любовника, а вырез спереди открывал ровно столько, чтобы мужское воображение дорисовало остальное — и дорисовало с лихвой. Она

поймала взгляд Дениса и улыбнулась — медленно, как будто смакуя его смущение, как дорогое вино. В её тёмных глазах горел тот самый адский огонёк, который обещал рай и ад одновременно, причём в неопределённой последовательности.

Алёна сидела в углу, в скромной блузке, застёгнутой на все пуговицы — на все до единой, словно она готовилась к обороне крепости. Она тоже смотрела на Дениса — украдкой, исподтишка, короткими перебежками взгляда. Но когда он повернулся — тут же отвела глаза и покраснела. Её пальцы нервно теребили салфетку, скручивая её в жгут, разрывая на мелкие клочки, и в этом движении было что-то до болезненности интимное — как будто она ласкала не салфетку, а кого-то, кого боялась ласкать наяву.

Светочка, процедурная медсестра, сидела рядом с кем-то из врачей и смеялась громче всех. Её крашеная блондинистая голова запрокидывалась, открывая шею — белую, беззащитную, созданную для поцелуев. Её грудь при каждом смешке подпрыгивала, как два весёлых зверька, которым не сидится на месте. Мужчины за соседним столом синхронно поворачивали головы на этот смех, как подсолнухи за солнцем.

Эдуард Борисович, начальник отдела практики, произнёс тост — витиеватый, полный двусмысленностей и намёков, которых никто толком не понял. Он говорил о «глубоком проникновении в суть профессии», о «плодотворном обмене опытом» и о «тесных связях между отделами». При этом он смотрел на Дениса. Долго. Слишком долго. Его пальцы — длинные, ухоженные, с безупречным маникюром — поглаживали ножку бокала с такой чувственной нежностью, что Денису стало не по себе. Он почувствовал, как краска приливает к щекам — глупо, по-мальчишески, — и разозлился на себя за это. Но отвести взгляд сразу не смог. Что-то держало его в этой паузе — не страх, не отвращение, а скорее любопытство, смешанное с неловкостью, которой он не мог найти названия. Он отвёл глаза первым, но ещё несколько секунд чувствовал на себе этот взгляд — тяжёлый, оценивающий, почти осязаемый, как прикосновение к затылку.

Вероника, патологоанатом, сидела в углу с каменным лицом, потягивая что-то из фляжки. Её чёрная чёлка закрывала пол-лица, но даже в полумраке было видно, что она наблюдает. Не участвует — именно наблюдает. Как энтомолог за бабочками. Или как патологоанатом за ещё живыми людьми. Временами она делала глоток из фляжки и едва заметно усмехалась — сухой, безрадостной усмешкой человека, который знает, чем всё закончится.

— Ещё по одной? — Ашот снова наполнил стакан Дениса, и коньяк заколыхался в нём, как расплавленный топаз.

И пошло-поехало.

Коньяк тёк рекой. Женщины смеялись, танцевали, пели. Банкет набирал обороты, и вместе с ним набирало обороты что-то ещё — то особое, пьянящее электричество, которое возникает в закрытых помещениях, когда много разгорячённых тел находятся в тесной близости друг к другу.

Лера поднялась из-за стола и начала танцевать. Сначала на полу, потом на стуле, а потом — на столе. Её бедра двигались в ритме, который заставлял мужчин и даже женщин забывать о дыхании. Это был не танец — это было закливание. Её тело извивалось, как змея, загипнотизированная невидимым факиром. Ткань платья натягивалась, обрисовывая каждый изгиб, каж-

дую впадинку, каждую выпуклость. Денис смотрел, открыв рот, и чувствовал, как внутри него что-то поднимается — горячее, требовательное, совершенно неуправляемое. Ладони вспотели, и он вцепился в край стола, чтобы удержать их — потому что они, казалось, жили собственной жизнью и тянулись к этой танцующей женщине, как к огню. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль: «Это не танец. Это публичное совокупление с воздухом».

Светочка, вдохновлённая примером Леры, тоже пустилась в пляс. Её грудь подпрыгивала с таким энтузиазмом, что казалось — ещё немного, и она вырвется из блузки и продолжит танец самостоятельно. Пожилой врач из терапии смотрел на это с выражением лица человека, который пришёл в музей, а попал на карнавал в Рио-де-Жанейро. Его очки запотели.

Даже Алёна, тихая Алёна, немного расслабилась. После третьего бокала шампанского (который ей настойчиво подливал кто-то из хирургов) она сидела уже не такая прямая, и верхняя пуговица её блузки сама собой расстегнулась, открывая ямочку между ключицами — маленькую, трогательную, как секрет, который она не собиралась рассказывать.

— Нравится? — усмехнулся Ашот, перехватив взгляд Дениса, направленный на танцующую Леру. Его собственная лысина блестела от пота, а глаза хитро поблёскивали. — Лера — она как огонь. Греет, но может и сжечь. Причём сжечь дотла, так что и пепла не соберёшь. Ты с ней поосторожней. Я видел, как она... — он осёкся и многозначительно покачал головой. — Впрочем, не буду портить тебе сюрприз.

Денис хотел переспросить, что значит эта пауза, но Ашот уже отвернулся к своей тарелке, и его лицо стало непроницаемым — как будто он сказал больше, чем следовало, и теперь делал вид, что ничего не говорил. Денис вдруг поймал себя на мысли, что это уже второй человек за день — после Строгова, — который предупреждает его о чём-то, но не договаривает до конца.

И тут же — словно в ответ на его мысли — случилось то, что на минуту перекрыло собой и музыку, и смех, и пьяный гул голосов.

В зале вдруг что-то грохнуло, и резкий женский голос — не Лерин, а другой, выше, с истерической нотой, — прокричал:

— Да что вы себе позволяете?! Это моё дело! Моё! А вы все лезете, куда вас не просят!

Денис обернулся. Это была Светлана, та самая буфетчица, вдова, с лицом вечной скромницы. Сейчас это лицо было залито краской — то ли от гнева, то ли от выпитого, — и вся она дрожала, как натянутая струна. Рядом с ней стояла Раиса Захаровна — возвышаясь, как башня, — и что-то вполголоса, но очень жёстко ей выговаривала. Слов было не разобрать, но по тону Денис понял: старшая медсестра отчитывает буфетчицу, и не в первый раз. Кто-то из врачей попытался вмешаться, но Светлана резко дёрнула плечом, сбрасывая с себя его руку, и выкрикнула:

— А ты вообще молчи! Твои руки я знаю лучше, чем твоё лицо!

На секунду в зале повисла тишина — та особенная, звенящая тишина, которая наступает после того, как кто-то сказал то, чего не следовало говорить никогда. Потом кто-то нервно рассмеялся, кто-то зааплодировал, музыка заиграла снова, и инцидент рассосался — но не до

конца. Светлана быстрым шагом, почти бегом, покинула зал. Раиса Захаровна проводила её взглядом — тяжёлым, как бетонная плита, — и вернулась к столу.

— Что это было? — спросил Денис Ашота.

— А, — Ашот небрежно махнул рукой, и его перстень сверкнул в свете ламп. — Женщины. Они как кошки: иногда им нужно пошипеть друг на друга, чтобы понять, кто в доме хозяйка. Не обращай внимания. Светка у нас вообще странная в последнее время. Места себе не находит. Вдова всё-таки.

Но что-то в его тоне — или в том, как быстро он перевёл разговор на другую тему, — заставило Дениса запомнить этот момент. А заодно и дверь, в которую выскользнула Светлана: чёрный ход в конце коридора, ведущий во внутренний двор. Тот самый, куда по утрам приезжает Рустам с продуктами.

К десяти вечера Денис был пьян. Сильно пьян. Так пьян, что лица сливались в одно сияющее пятно, а звуки — в один протяжный, басовитый гул, похожий на пение китов в брачный период. Коньяк внутри него вёл переговоры с закуской, и переговоры шли тяжело — стороны не могли прийти к консенсусу.

— Тебе бы прилечь, — раздался над ухом голос Раисы Захаровны. Её командирский бас пробивался даже сквозь алкогольный туман, как ледокол сквозь арктические льды. — Иди в ординаторскую на втором этаже. Третья дверь слева. Там диван. Постри. А то натворишь дел. Ты нам ещё нужен. Живой и относительно здоровый.

Денис кивнул — движение вышло неопределённым, словно голова не была уверена, в какую сторону ей следует двигаться. Встал, держась за стену. Стена была прохладной и шершавой — единственное, что оставалось реальным в этом мире расплывчатых контуров и двусмысленных улыбок. Он провёл по стене ладонью, и шероховатость краски под пальцами была почти приятной — как напоминание о том, что у него всё ещё есть тело, что он существует.

Побрёл в коридор.

Лестница встретила его холодным сквозняком, который поднимался откуда-то снизу — из подвала, из морга, из самого чрева больницы. Сквозняк пах формалином, сыростью и чем-то ещё — чем-то, что заставило Дениса поёжиться, несмотря на алкогольный жар. Второй этаж. Третья дверь слева. Или четвёртая? Он толкнул первую попавшуюся и вошёл в темноту.

Ординаторская. Строгий диван у стены, покрытый холодным дерматином. Денис рухнул на него, как падает подкошенное дерево. Дерматин под щекой был прохладным и скользким, и на мгновение это ощущение вырвало его из алкогольного забытья — он остро, почти болезненно осознал, что лежит один в тёмной комнате, в незнакомом здании, полном женщин, которые смотрели на него так, как не смотрят на случайного человека. Потом сознание стало расплываться, и последнее, что он услышал перед тем, как провалиться в небытие, был звук открывающейся двери.

Или ему показалось.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЧАСТЬ II

В КОТОРОЙ НАШ ГЕРОЙ СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ ТАИНСТВЕННОГО АНОНИМНОГО ДОНОРА И ПОЛУЧАЕТ ПЕРВУЮ ЗАГАДКУ

Он не знал, сколько прошло времени. Может быть, минута. Может быть, час. Может быть, целая жизнь.

Темнота была крошечная, абсолютная. Не просто отсутствие света, а плотная, удушающая субстанция, которая давила на глазные яблоки. Казалось, она звенит в ушах — высоким, комариным звуком. Или это кровь шумит в висках, перекачивая алкоголь из одного полушария мозга в другое. Денис плавал в этой темноте, как зародыш в утробе — беспомощный, беззащитный, ничего не понимающий. Единственное, что связывало его с реальностью — это дерматин под щекой: прохладный, скользкий, пахнущий больницей.

Первым реальным ощущением стал холодок металлической молнии на коже — там, внизу живота. Сознание схватилось за это ощущение, как утопающий за соломинку. Молния поползла вниз. Медленно. Зубчик за зубчиком. Каждый зубчик отзывался в позвоночнике микроскопической дрожью, и эта дрожь, накладываясь на гул серверов где-то этажом выше, создавала странную, тревожную симфонию. Звук был резкий, механический, совершенно инородный в этой влажной, дышащей тишине — как будто расстёгивали не ширинку, а саван.

Пальцы, которые это делали, были прохладными и удивительно сухими. Они не дрожали. Они двигались с точностью хирурга, выполняющего знакомую, много раз повторённую операцию. Сначала пуговица — та, что на поясе, круглая, гладкая, — щёлкнула, выходя из петли. Потом ткань отогнулась в сторону, как створка раковины, открывающей жемчужину. Потом... прикосновение. Нежное и уверенное одновременно — как будто эти пальцы знали его тело лучше, чем он сам. Как будто они изучали его заочно, по фотографиям, по медицинским картам, по каким-то неведомым ему источникам.

Денис попытался открыть глаза. Веки не слушались — налитые свинцом, они отказывались подчиняться. Он хотел спросить «Кто здесь?», но из горла вырвался только сиплый, невнятный выдох — жалкий, беспомощный звук, который больше напоминал стон, чем вопрос.

Ответом ему была тишина. И тёплое, влажное касание губ.

Губы были мягкими, но настойчивыми. Они двигались по его телу с мучительной, невыносимой медлительностью, и каждое прикосновение языка было как удар током — острое, точное, парализующее волю. Тот, кто это делал, знал анатомию мужского тела лучше, чем сам Денис. Знал, где задержаться на долю секунды, чтобы дыхание перехватило. Знал, где надавить кончиком языка, чтобы по позвоночнику пробежала судорога — горячая, почти болезненная. Знал, где обвести — медленно, кругами, — чтобы Денис забыл собственное имя. И знал, где сделать паузу — ту самую, невыносимую, — чтобы Денис захлебнулся собственным стоном, который прозвучал в тишине почти неприлично громко.

Это не было страстно в обычном, человеческом смысле. Это было ритуально. Сакрально. Как будто человек в темноте совершал какое-то древнее, непонятное Денису подношение — не для себя, а для него. Как будто его тело было алтарём, а незнакомка — жрицей, которая знает слова молитвы, непонятные непосвящённым. Никогда — ни с одной женщиной — Денис не чувствовал себя настолько... разобраным. Собраным заново. Изученным.

И тишина. Ни стопа, ни вздоха. Ни единого звука, кроме влажного, шёлкового скольжения и его собственного прерывистого, сдавленного дыхания. Тишина была противоестественной — как у призрака, у которого нет лёгких. Как у существа, которое не нуждается в воздухе, потому что живёт в иной стихии. Как у человека, который много лет тренировался молчать.

Он попытался поднять руку — свинцовая тяжесть не пустила. Алкоголь превратил его мышцы в кисель. Попытался коснуться волос, лица — лишь слабо шевельнул пальцами, царапнув ногтями дерматин. И тогда чужие пальцы мягко, но настойчиво прижали его запястье к кушетке. Приказ. Нет, не приказ — заклинание. «Лежи смирно. Не мешай. Принимай». Пальцы были тонкие, цепкие, удивительно сильные для своего размера. И холодные. Холоднее, чем должны быть пальцы живого человека. Может быть, она только что мыла руки в ледяной воде. Может быть, она вообще не живая — мелькнула безумная, пьяная мысль, и Денис почти поверил в неё.

Спираль внутри скручивалась всё туже, подчиняясь этому невозможному, колдовскому ритму. Денис чувствовал, как напряжение растёт, заполняет каждую клетку тела, подступает к горлу, требует выхода. Мышцы живота свело судорогой — сладкой, почти болезненной. Бёдра дрожали. Он больше не контролировал ничего — ни своего дыхания, ни своего голоса, ни своего тела. Он был инструментом в чужих руках — и инструмент этот звучал так, как не звучал никогда прежде.

В тот момент, когда мир разлетелся на осколки, когда он выгнулся дугой, ловя ртом воздух — горячий, спёртый воздух ординаторской, — пришла странная, отрезвляющая мысль. Яркая, как вспышка молнии в ночи: «Я даже не знаю, кто это. Я даже не знаю, как её зовут. Я не знаю, брюнетка она или блондинка, старая или молодая, красивая или... И мне всё равно. Мне всё равно».

Но рот, тёплый и всепринимаящий, ответил за неё. Он не отдёргнулся. Не отстранился. Не сделал вид, что ничего не произошло. Он выпил всё до дна — беззвучно и жадно, как путник в пустыне, добравшийся до оазиса. С благодарностью. Или с голодом, который не утолить ничем. Или с тем особым, самозабвенным служением, которое превращает физиологию в поэзию.

Финал был похож на маленькую смерть — ту самую, о которой пишут французские романисты. А когда Денис вернулся в своё тело — мокрый, опустошённый, дрожащий, с бешено колотящимся сердцем, — в комнате снова, казалось, был только он. И тишина. И темнота.

Вдруг почти беззвучный шелест ткани — кто-то оправлял одежду. Лёгкие шаги — такие лёгкие, что не скрипнула ни одна половица. Как будто человек не шёл, а плыл над полом. Или как будто его вовсе не было, а шаги были всего лишь игрой воображения, слуховой галлюцинацией, рождённой алкогольными парами.

Дверь открылась с тихим, вкрадчивым вздохом — как будто сама дверь была живым существом, посвящённым в тайну. Закрылась — с почти беззвучным металлическим шелчком.

И Денис остался один.

Он лежал в темноте, и мысли металась как безумные, сталкиваясь друг с другом, разбегаясь, возвращаясь.

Кто это был?!

Он вдруг осознал, что не может вспомнить почти никого из тех, кто был на банкете. Ну, кроме Леры, которая танцевала на столе, Алёны, которая краснела и теребила салфетку, Вероники, которая сидела с фляжкой и усмехалась, и Светочки с её подпрыгивающей грудью. Остальные слились в одно сияющее, расплывчатое пятно — множество женских тел, лиц, улыбок, грудей, которые невозможно различить по отдельности. Он был слишком пьян. Он не запомнил лиц.

И поэтому не мог даже начать гадать.

Кто ты?

Перед тем как провалиться в сон — на этот раз в настоящий, глубокий, чёрный сон без сновидений, — он успел подумать: «И что теперь делать с тем, что это было лучшее в моей жизни?»

И ещё: «Я найду тебя. Кем бы ты ни была. Я найду тебя и узнаю. По губам. По языку. По дыханию. Я узнаю тебя из тысячи».

Он не помнил, как уснул. Но спал крепко, как спят только после хорошей любви или хорошей войны.

Утро было жестоким. Оно ворвалось в ординаторскую серым, безжалостным светом, который просачивался сквозь пыльные жалюзи, как вода сквозь прохудившуюся крышу. Голова раскалывалась — где-то внутри черепа сидел маленький человечек с молотком и методично, удар за ударом, пытался выбраться наружу. Во рту — пустыня Сахара, и по ней прошёл караван верблюдов, гружённых солью.

Денис сел на диване. Ординаторская. Дневной свет. Пыль, танцующая в солнечных лучах. За окном моросил дождь — мелкий, противный, как напоминание о вчерашних грехах.

Он был один.

Ширинка застёгнута. Одежда в порядке. Никаких следов. Никаких улик. Как будто ничего не было. Как будто всё это приснилось — плод разгорячённого алкоголем воображения, галлюцинация одинокого мужчины в пустой больнице.

Кроме одного.

На тумбочке, рядом с кушеткой, лежал скомканный носовой платок. Женский. Белый, с вышитым в уголке голубым цветочком — незабудкой. Вышивка была старой, аккуратной,

какой-то очень домашней. Стежки — ровные, бережные, словно тот, кто вышивал, думал о чём-то хорошем. Или о ком-то.

Денис взял платок. Мягкий, чуть влажный. Он поднёс его к лицу, закрыл глаза, вдохнул. Никакого запаха духов — вот что было странно. Все женщины в больнице пахли: духами, дезодорантом, мылом, потом, лекарствами. А этот платок не пах ничем — точнее, пах тем, чем пахнет сама чистота. Лёгкий, почти неуловимый запах медицинского спирта. Ещё — крахмал. И что-то ещё, что-то, чему он не мог подобрать названия. Что-то стерильное и одновременно глубоко интимное. Так пахнет кожа, которую никогда не касались духи. Так пахнет тело, которое моют простым хозяйственным мылом. Так пахнет...

Он не мог вспомнить, что напоминает ему этот запах.

И тут его пронзила новая мысль — холодная, тревожная, как сквозняк из подвала. Он вспомнил движения незнакомки — точные, выверенные, без единой лишней детали. Вспомнил, как она оправила одежду перед уходом. Так оправляют одежду люди, которые привыкли всё доводить до конца. Люди, которые не забывают вещи. Она не могла просто уронить платок. Слишком осторожна. Слишком методична.

Может быть, она оставила его нарочно.

Может быть, платок — не улика, а приглашение. Первый ход в игре, правил которой он пока не знает.

Той ночью кто-то вытерся этим платком. А потом положил его на тумбочку. На виду. Чтобы он нашёл. Чтобы он начал искать.

Он сунул платок в карман, чувствуя себя не то вором, не то пешкой в чужой партии. Улика. Первая и пока единственная. Или — подарок. Носовой платок с незабудкой.

«Не забудь меня».

Он встал. Потянулся. Суставы хрустнули — диван не был предназначен для сна, а его тело не было предназначено для таких пробуждений. Вышел в коридор.

Больница жила своей обычной, утренней жизнью — той особой, суетливой жизнью, которая начинается в больницах задолго до того, как проснутся пациенты. Медсёстры спешили по делам, развозя тележки с лекарствами и градусниками. Врачи обсуждали вчерашний банкет, понизив голоса до заговорщицкого шёпота. Кто-то смеялся — хриплым, похмельным смехом. Кто-то стонал — пациенты не знали о празднике, и похмельные капельницы пользовались небывалым спросом. Говорили, что Галина Петровна лично готовила рассол по секретному рецепту своей бабушки.

В столовой пахло подгоревшей кашей и тем самым спасительным рассолом, который возвращает к жизни даже самых пропащих. Зинаида Львовна, маленькая и уютная, как вязаная салфетка на чайнике, налила ему стакан мутноватой, но божественно пахнущей жидкости:

— Допился, касатик?

— Есть немного, — прохрипел Денис. Собственный голос показался ему чужим — скрипучим, как несмазанная дверь.

— Ничего. Вон Ашот Гургенович вообще лицом в салате уснул. Прямо в оливье. Представляешь? Еле откачали. Галина Петровна его полотенцем отхлестала по щекам — и ничего, ожил, даже добавки попросил. А ты ещё ничего. Живой. Даже симпатичный, если не присматриваться.

Денис выпил рассол. Солёная влага потекла по пищеводу, возвращая его к жизни — клетка за клеткой, орган за органом. Это было почти так же хорошо, как то, что случилось ночью. Почти.

Потом пошёл в серверную. Ему нужно было работать. Или делать вид, что работает. Мысли всё равно были заняты другим. Тем, что случилось ночью. Тем, чего не могло быть, но что было. Тем, что не укладывалось в голову и одновременно занимало всю голову, не оставляя места для баз данных и зависших принтеров. Губы незнакомки. Холодные пальцы. И тишина — та самая, абсолютная, в которой слышно только его собственное дыхание.

Он открыл дверь серверной.

И замер. Сердце пропустило удар, потом другой, потом забилося часто-часто, как будто пытаясь наверстать упущенное.

На клавиатуре лежал листок бумаги. Сложенный вдвое. Белый прямоугольник на чёрной клавиатуре — как приглашение на казнь. Или на бал. Серверы гудели, мигали зелёными огоньками, и в их прерывистом свете листок казался чем-то инородным — как послание из другого мира. Из того мира, где женщины приходят в темноте и уходят, не назвав себя.

Фиолетовые чернила.

Денис медленно подошёл. Взял листок. Пальцы дрожали — мелкой, противной дрожью, которую он не мог унять. Бумага была плотной, чуть шероховатой на ощупь. Развернул.

Почерк был каллиграфический — изящный, с наклоном вправо. Буквы — как бисер, нанизанный на невидимую нить. Каждая выписана тщательно, с любовью — так пишут не наспех, не на бегу, не между делом. Так пишут, когда хотят, чтобы каждое слово имело вес. Когда хотят, чтобы тот, кто читает, слышал голос. Так пишут в личных дневниках. Или в любовных письмах, которые никогда не будут отправлены.

Он прочитал.

И перечитал.

И кровь прилила к лицу, а потом отлила — резко, как будто кто-то открыл невидимый кран где-то внизу живота.

«Простите меня.

Я не должна была этого делать. Это было неправильно, безрассудно, неосторожно. Я нарушила все правила — писанные и неписанные.

Надеюсь, я не сильно вас побеспокоила ночью. Надеюсь, вы не будете на меня сердиться. Надеюсь, вы вообще что-то помните.

Это была ошибка. Слабость. Момент, когда моя тайна вырвалась наружу.

Но всё же, если вы хотите узнать, кто я...

Я везде и нигде. Я вижу то, что от вас скрыто, и знаю цену тому, что вы не цените. Мои руки всегда чисты, но в моих снах — горячка. Я храню сотни секретов, но мой — самый страшный.

Если догадаетесь — оставьте ответ здесь.

Если нет — я пойму. И исчезну навсегда. Так будет лучше. Для нас обоих.

А.Д.»

Денис опустил на стул. Руки дрожали так, что листок ходил ходуном, и буквы плясали перед глазами, сливаясь в неразборчивую вязь.

«Простите меня. Я не должна была».

Нет, подумал он. Нет, нет, нет. Не извиняйся. Не смей извиняться. Это было... это было лучшее, что случилось со мной за многие годы. Может быть — лучшее вообще. И если это ошибка, то я хочу ошибаться снова и снова. Снова, и снова, и снова, пока ошибка не станет правилом. Пока ошибка не станет единственным смыслом.

Он перечитал загадку. Медленно. По словам. Как будто каждое слово могло раскрыть тайну, если посмотреть на него под правильным углом. Как будто каждое слово было дверью, за которой скрывается ответ.

«Я везде и нигде.»

Кто в больнице бывает везде? Санитарки. Медсёстры. Уборщицы. Секретари. Кто-то, чьё присутствие настолько привычно, что его не замечают. Кто-то, кто может войти в любую дверь и не вызвать подозрений.

«Я вижу то, что от вас скрыто.»

Кто видит скрытое? Лаборанты видят то, что скрыто в крови. Рентгенологи — то, что скрыто под кожей. Патологоанатомы — то, что скрыто от всех живых. Секретари — то, что скрыто в документах. Архивариусы — то, что скрыто в историях болезней.

«Мои руки всегда чисты.»

Стерильность. Хирургия. Лаборатория. Процедурный кабинет. Человек, который моет руки десятки раз в день — по обязанности, а не по привычке.

«Я храню сотни секретов, но мой — самый страшный.»

Истории болезней. Архив. Или... секрет сердца, о котором никто не догадывается. Секрет, который сжигает изнутри. Секрет, который заставляет женщину приходить в темноте к незнакомому мужчине и уходить, не назвавшись.

Алёна, подумал он. Алёна работает в лаборатории. Она видит то, что скрыто в анализах. У неё чистые руки — она моет их постоянно, это профессиональная привычка. Она стесняется, краснеет — это подходит к словам «мой секрет — самый страшный». Она верит в любовь. Она ждёт любви. Может быть, она ждала так долго, что решила взять её силой? Украсть любовь у темноты, раз уж дневной свет не дал ей того, чего она хотела?

Но что-то внутри него сопротивлялось этой догадке. Что-то не складывалось. Ночью — он помнил это смутно, обрывками, как помнят сон, — его не покидало чувство, что он не просто с кем-то, а с кем-то, кто знает о нём всё. Кто изучал его задолго до этой ночи. Кто наблюдал за ним — долго, терпеливо, тайно. В каждом движении незнакомки чувствовалось не просто мастерство — чувствовалось знание. Интимное, глубокое знание именно его, Дениса. Его тела. Его ритма. Его реакций.

Алёна не могла знать. Она видела его два раза в жизни — вчера в серверной и на банкете. Разве можно изучить человека за два раза? Разве можно за два раза узнать, где у него перехватывает дыхание, а где — отпускает?

Но ему хотелось, чтобы это была она. Хотелось с такой силой, что логика отступила, как отступает волна перед приливом, оставляя после себя мокрый песок и пустоту.

Он схватил ручку и написал, стараясь унять дрожь в пальцах. Почерк у него был не каллиграфический — прыгающий, нервный, с наклоном в разные стороны. Но он старался. Он очень старался, чтобы буквы вышли ровными. Чтобы она увидела: он отнёсся к её письму серьёзно. Он прочитал каждое слово:

«Алёна? Если это ты — прошу, не извиняйся. Никогда не извиняйся за то, что было прекрасно. Это было больше, чем прекрасно. Это было откровением. Я хочу увидеть тебя. Не в темноте. При свете. Хочу увидеть твои глаза, твои руки, твои губы. Хочу услышать твой голос.

Д.»

Он оставил листок на клавиатуре. Вышел из серверной. Сердце колотилось где-то у горла — горячее, живое, требующее ответа. Пол под ногами казался зыбким, как палуба корабля в шторм. Коридор плыл перед глазами.

В коридоре он столкнулся с секретаршей. Она шла с папкой документов — серый костюм, очки, тугий пучок, из которого выбилась одна тонкая, почти незаметная прядь. Она прошла мимо, даже не скользнув взглядом — как будто его не существовало. Как будто её не существовало. Как будто два невидимых человека разминулись в коридоре, полном живых.

«Странная она», — мелькнула мысль и тут же растворилась в образе Алёны — в её серых глазах, русых волосах, в том, как она краснеет.

Из лаборатории как раз выходила Алёна со штативом пробирок. Их взгляды встретились. Она вздрогнула так, что одна пробирка звякнула в штативе — тонко, жалобно, как треснувший хрусталь, — и кровь бросилась ей в лицо, заливая щёки, шею, уши. Она замерла на месте, как кролик перед удавом — маленький, беззащитный кролик с пробирками в дрожащих руках.

— Доброе утро, — сказал Денис. Голос предательски дрогнул, выдавая его с головой.

— Д-доброе... — пролепетала она и почти бегом скрылась за дверью лаборатории. Дверь захлопнулась за ней с мягким, но решительным стуком, и в этом стуке было что-то окончательное, как в приговоре.

«Это она, — с жаром подумал Денис. — Должна быть она. Кто ещё может так краснеть? Кто ещё может так бояться?»

Но даже в эту минуту — в минуту почти полной уверенности — холодный червячок сомнения шевелился где-то глубоко, под сердцем. Слишком многое не совпадало. Слишком многое. И этот запах — чистоты, спирта, крахмала — он ведь не совпадал с Алёной, от которой пахло йодом и ромашкой. И движения — уверенные, почти властные — они не совпадали с Алёной, которая теребила салфетку и забыла картридж.

«Я хочу, чтобы это была она, — признался он себе. — Я просто хочу, чтобы это была она. И поэтому я верю».

Игра только начиналась, а он уже сделал первый неверный ход — тот самый, который в шахматах называют «зевком», а в любви — «роковой ошибкой». И где-то в глубине больницы, в одной из бесчисленных комнат, женщина, которую он только что проигнорировал, поправила очки в тяжёлой оправе и улыбнулась — едва заметно, уголками губ. Но этого, разумеется, никто не увидел.

Ночью Денис не спал. Он лежал в своей холостяцкой квартире, смотрел в потолок, на котором плясали тени от ветвей за окном, и вспоминал.

Губы. Язык. Ритм. Влажная, шёлковая тишина. И пальцы — сухие, прохладные, удивительно точные. И тяжесть на запястье, когда она не дала ему прикоснуться к себе — не дала нарушить таинство. Не дала увидеть её лицо.

И платок — белый, с голубой незабудкой.

Он достал его из кармана и разглядывал в полумраке. Незабудка. «Не забудь меня». Символ памяти, верности, вечной любви. Старая вышивка. Домашняя. Такие платки не покупают в магазине — их передают по наследству. От бабушки к внучке. Или от матери к дочери.

Кто ты, А.Д.?

Он представлял Алёну. Её серые глаза — прозрачные, как утренняя роса. Её тонкие пальцы — те самые, что теребили салфетку. Её манеру краснеть — медленно, слоями, как будто краска заливает её изнутри. Могла ли она? Способна ли застенчивая лаборантка на такую... такую отдачу? На такое знание мужского тела? На такую жреческую, самозабвенную технику?

Но ещё он думал о том, что сказала ему Раиса Захаровна: «Ты нам ещё нужен. Живой и относительно здоровый». «Нам» — кому это «нам»? Всей больнице? Или кому-то конкретному?

И ещё о том, что Ашот не договорил про Леру: «Я видел, как она...» Что он видел? И почему замолчал?

И о том, как смотрел на него Эдуард Борисович — слишком долго, слишком внимательно, словно оценивая.

И о том, что Вероника сидела в углу с фляжкой и усмехалась — как человек, который знает, чем всё закончится.

Слишком много загадок. Слишком много женщин. Слишком много секретов.

В понедельник я узнаю.

Так он думал.

Он ошибался.

Всё было гораздо, гораздо сложнее. Потому что А.Д. — это не одна женщина. А.Д. — это тень, которая принимает разные обличья. А.Д. — это загадка, у которой не один ответ, а много. И в этой больнице у каждой женщины есть своё лицо, своя история, свой секрет. И каждая — в той или иной степени — могла бы подписаться этими двумя буквами.

Но пока он этого не знал.

Он заснул под утро, сжимая в руке платок с незабудкой. И ему снились женщины. Много женщин. Все они были без лица. Все они прикасались к нему — молча, ритуально, жречески. И все они оставляли после себя платки. Белые платки с голубой незабудкой.

А последней во сне пришла та, которую он не заметил даже во сне. Она стояла в стороне — и молчала. И в её руке был листок бумаги, сложенный вдвое. Фиолетовые чернила. Она протянула ему этот листок, но он прошёл мимо — даже во сне, даже в своём собственном подсознании он прошёл мимо неё, устремившись к другим.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЧАСТЬ I

В КОТОРОЙ НАШ ГЕРОЙ ПОЛУЧАЕТ ВТОРУЮ ЗАПИСКУ, ДЕЛАЕТ ОШИБОЧНЫЙ ВЫВОД И ПОПАДАЕТ В РЕНТГЕН-КАБИНЕТ, ГДЕ ЕГО ЖДЁТ СЮРПРИЗ

Утро понедельника началось с того, что Денис проспал.

Будильник надрывался пятнадцать минут — сначала требовательно, потом обиженно, потом с каким-то металлическим отчаянием, — прежде чем он соизволил открыть глаза. В голове ещё плавали обрывки снов: тёмные коридоры, белые платки, женщины без лиц, которые прикасались к нему молча, ритуально, жречески. Он сел на кровати и уставился в стену. Обои в цветочек — дурацкие, ещё от прежних жильцов — смотрели на него с немым укором. Прошло три дня с той ночи. Три дня, а он всё ещё прокручивал в голове каждую секунду. Губы. Язык. Движения. И тишина. Эта абсолютная, невозможная тишина, в которой было больше смысла, чем в любых словах. Тишина, которая обволакивала его, как вторая кожа, — плотная, дышащая, живая. Тишина, пахнувшая медицинским спиртом и крахмалом.

Он оставил записку в серверной в пятницу утром. Сегодня понедельник. За выходные он едва не сошёл с ума от ожидания. Смотрел на платок с незабудкой — крутил в пальцах, подносил к лицу, вдыхал этот стерильный, чистый запах, за которым не стояло ни духов, ни дезодоранта, ни даже мыла — только сама кожа, тайная, непознанная, не тронутая парфюмерией. Перечитывал первую записку, пока не выучил наизусть каждую букву, каждый изгиб фиолетовых чернил, каждую завитушку заглавной «А». Что, если она не ответит? Что, если он ошибся с Алёной и этим всё испортил? Что, если всё это — одна ночь, и больше ничего не будет? Одна ночь, после которой придётся жить с памятью о совершенстве, недостижимом, как горизонт, — и с сознанием, что ты сам, своими руками, всё испортил.

Он быстро оделся, выпил кофе — кофе убежал, потому что он забыл выключить плиту, и теперь на плите красовалось коричневое, подгоревшее озеро, — и помчался в больницу. На ходу застёгивал рубашку — снова неправильно, снова криво, но сейчас это не имело значения. Имело значение только то, что ждало его на клавиатуре в серверной.

Больница встретила его запахом хлорки и лекарств, и ещё тем особым утренним запахом влажного линолеума, который только что вымыли — с хлоркой, с чем-то едким, что щипало ноздри. В коридорах сновали медсёстры, гремели каталки, где-то плакал ребёнок — высоко, тонко, безутешно, и этот плач эхом разносился по всем этажам. Обычный понедельник. Но для Дениса этот понедельник не был обычным. Сегодня он узнает правду. Или сделает шаг к ней. Или сделает шаг в пропасть — что, в сущности, одно и то же.

Он почти бежал по коридору к серверной. Сердце колотилось где-то в горле — горячее, живое, требовательное, как мотор, работающий на пределе оборотов. У двери остановился, перевёл дыхание. Ладонь легла на холодную ручку — металл обжёг пальцы. Он открыл.

На клавиатуре лежал листок.

Фиолетовые чернила. Тот же почерк. Изящный, с наклоном вправо. Буквы — как бисер, нанизанный на невидимую нить. Каждая выписана с любовью, с той особой бережностью, с

какой выводят слова, предназначенные только для одного человека. С той тщательностью, с какой пишут письма, которые будут перечитывать годами.

Он схватил его. Развернул — бумага чуть слышно хрустнула. Прочитал.

И выдохнул — сам не зная, разочарование это или облегчение. Грудь сжалась, потом отпустила, и по телу разлилось странное, горьковато-сладкое тепло — как будто он выпил глоток горячего чая с мёдом и лимоном, но чай был чуть горьковатым.

«Я не Алёна.

Но вы выбрали хорошую девушку.

Она заслуживает счастья.

Просто я — не она.

Вот новая подсказка.

Будьте внимательны.

Я та, кто смотрит сквозь людей.

Мои инструменты невидимы, но проходят сквозь всё.

Я нахожу то, что другие пропускают.

Мои лучи беззвучны, но говорят больше, чем слова.

Кто я?

А.Д.»

Денис перечитал три раза. Медленно, по словам, как будто каждое могло раскрыть тайну, если взглядеться в него достаточно пристально. Если прочитать не глазами, а чем-то иным — интуицией, сердцем, кончиками пальцев.

«Смотрит сквозь людей. Инструменты невидимы, но проходят сквозь всё. Лучи беззвучны, но говорят больше, чем слова».

Рентген.

Это рентген-кабинет. Это так очевидно, что почти не требует доказательств. Лучи, которые проходят сквозь плоть, невидимые, беззвучные, но говорящие — они рассказывают о переломах, о тенях в лёгких, о том, что скрыто от глаза. Кто ещё может сказать о себе «я смотрю сквозь людей»? Только рентгенолог. Или... или кто-то, кто умеет видеть невидимое не только на снимках. Кто-то, кто видит людей насквозь в переносном смысле. Кто-то, кто понимает мотивы и тайны.

Но Денис не стал усложнять. Загадка казалась простой — и он ухватился за простой ответ.

Он судорожно вспоминал, кто работает в рентгене. На собеседовании ему показывали расположение кабинетов, водили по этажам, перечисляли фамилии. Рентген — третий этаж, левое крыло. Там Ира... кажется, Смирнова. Рыжая, веснушчатая, неприметная. Видел мель-

ком в коридоре — она прошла мимо, не подняв глаз, с каким-то снимком в руке. Но она, кажется, сейчас в отпуске? Или нет? Он не мог вспомнить точно.

Он решил не гадать, а проверить. Потому что каждая минута ожидания была теперь пыткой — сладкой, но пыткой. Пыткой, на которую он согласился добровольно.

Но сначала — ответ.

Взял ручку. Задумался на мгновение. Палец завис над бумагой, и кончик ручки чуть подрагивал — выдавая его волнение, его надежду, его страх. Потом написал — быстро, размашисто, без каллиграфии, но с тем жаром, который горел у него внутри:

«Не Алёна. Жаль. Но я не отступаю.
Лучи, которые проходят сквозь всё — это рентген?
Если да — я найду вас. Обещаю.
Д.»

Оставил листок на клавиатуре — белый прямоугольник на чёрном пластике, как флаг капитуляции, как приглашение к продолжению игры, как любовное письмо, адресованное призраку. И вышел в коридор. Третий этаж, левое крыло.

Коридор третьего этажа был длиннее, чем остальные. Или ему так казалось — потому что каждый шаг отдавался в груди гулким эхом ожидания. Стены здесь были выкрашены в бледно-зелёный цвет — цвет больничной тоски, цвет увядшей надежды, цвет молодого горошка, который забыли вовремя собрать. На полу лежал старый линолеум с геометрическим рисунком, который помнил Брежнева, а может, и Хрущёва. Лампы дневного света гудели над головой — монотонно, усыпляюще, как мантра, как молитва, как жужжание мухи в пустой комнате.

Рентген-кабинет находился в самом конце, там, где коридор упирался в массивную дверь с табличкой: «Рентген-кабинет. Заведующая — И.В. Смирнова». Рядом — значок радиационной опасности: три красных лепестка на жёлтом фоне, как стилизованный цветок, как предупреждение, как знак «Осторожно: здесь вас могут увидеть насквозь». Смотрит сквозь людей, подумал Денис. Буквально. Лучи проходят сквозь плоть, не причиняя боли, но открывая все тайны. Так же, как она — та, невидимая, — проходит сквозь его душу. Или как он надеется, что проходит.

Он постучал. Косточки пальцев трижды ударили по дереву — слишком громко, слишком решительно для человека, который пришёл проверять кабели.

— Войдите! — раздался женский голос. Низкий, с хрипотцой, полный той особой уверенности, которая даётся только опытом. Голос, который не просит, а разрешает.

Он открыл дверь.

За столом сидела Лера.

Та самая Лера, которая танцевала на столе в ночь банкета, и её бёдра двигались в ритме, заставлявшем мужчин забывать о дыхании и о собственных именах. Та самая, что смотрела на него весь вечер с улыбкой хищницы — оценивающей, многообещающей, чуть насмешли-

вой. Брюнетка, каре до плеч, третий размер груди, упакованный в медицинский халат, который сидел так, что не скрывал, а скорее рекламировал — каждую линию, каждую выпуклость, каждый изгиб. Халат был застёгнут ровно настолько, чтобы не нарушать больничных правил, и расстёгнут ровно настолько, чтобы сводить с ума. Компромисс между медициной и соблазном.

Она подняла глаза от бумаг и улыбнулась — медленно, словно пробовала Дениса на вкус, как пробуют дорогое вино: сначала вдохнуть аромат, потом подержать на языке, потом проглотить, потом ждать послевкусия.

— Капустин? — она откинулась в кресле, и кресло скрипнуло под ней, издав звук, похожий на сдавленный стон. — Какими судьбами? Принтер сломался? Или что-то более... личное? Что-то, что требует моего присутствия, а не присутствия Ирочки Смирновой?

— Я... — Денис на мгновение забыл, зачем пришёл. Её присутствие действовало как удар по голове — оглушало, дезориентировало, выбивало почву из-под ног. Слова застряли где-то в горле, как рыба кость. — Я думал, здесь Ирина Смирнова.

— Ирка в отпуске. В Турции. Греет свои веснушки под средиземноморским солнцем и пьёт коктейли с зонтиками. А я замещаю. — Лера сняла очки, которые держала в руке скорее как аксессуар, чем как медицинский инструмент, — изящная оправка, чуть затемнённые стёкла, полная бессмыслица в рентген-кабинете. Без очков её глаза стали ещё более тёмными, ещё более глубокими — два омота, в которых ничего не отражалось, но всё тонуло. — Так что у вас за дело, Денис Сергеевич? Или можно просто Денис? Мы ведь уже выпивали вместе. И танцевали. Ну, я танцевала, а вы смотрели. Очень внимательно смотрели. Я бы даже сказала — изучали. Как анатомический атлас.

Денис сглотнул. Горло пересохло мгновенно, как будто он съел ложку песка. Она знала. Она видела. И не злилась. Наоборот — ей это, кажется, нравилось. Ей нравилось быть объектом изучения — при условии, что она сама выбирала исследователя.

— Я просто... — он лихорадочно придумывал причину, которая прозвучала бы убедительно, но мысли путались, как провода за его рабочим столом. — Проверяю сеть. Кабели. Интернет. В рентген-кабинетах часто помехи. Из-за оборудования. Электромагнитное излучение.

— Ах, помехи, — Лера улыбнулась шире, и улыбка эта была как луч прожектора — яркая, слепящая, не оставляющая теней. — Конечно. Помехи. Электромагнитное излучение. Кабели. Какие увлекательные у вас профессиональные интересы. — Она помолчала, и пауза эта была многозначительнее любого слова. — Я не буду вам мешать. Или буду? — она приподняла бровь, и в этом движении было больше смысла, чем в целой лекции по анатомии. — Смотрите что вы хотите проверить на самом деле.

Денис сделал вид, что осматривает кабели у стены. Опустился на корточки, взялся за провод, посмотрел на него так, будто это была самая интересная вещь в мире — сплетение медных жил и пластиковой изоляции, сакральный объект, требующий немедленного изучения. Лера не сводила с него глаз. Он чувствовал её взгляд спиной — как тепло от открытого огня, как луч того самого рентгена, который видит сквозь одежду, сквозь кожу, сквозь кости, сквозь все его жалкие попытки притвориться, что он здесь по делу.

— Вы знаете, — сказала она вдруг, и голос её стал ниже, интимнее, как будто она пересекла некую невидимую границу и теперь говорила не с коллегой, а с кем-то, кто лежит на её кушетке, — а вы смешной. Очень. Ходите, делаете вид, что вам нужны кабели. Смотрите на провода с таким видом, будто это священное писание. А на самом деле вам нужно другое. Я права?

— Что вы имеете в виду? — он попытался изобразить непонимание, но голос предательски дрогнул.

— То, что вы здесь не из-за помех. — Лера встала, обошла стол и подошла ближе. Её шаги были мягкими, кошачьими — она не шла, она подкрадывалась, и каблуки её туфель выбивали по линолеуму дробь: тук-тук-тук, как сердцебиение. От неё пахло дорогими духами — что-то восточное, пряное, с нотками мускуса и ещё чего-то, чему Денис не мог подобрать названия. Чего-то, что обещало ночь, полную тайн и открытий. Чего-то, от чего кровь двигалась быстрее. — Вы что-то ищете. Или кого-то. Я видела вас на банкете. Вы были такой потерянный. Такой... одинокий. Такой доступный. А потом вы исчезли. Вдруг. Испарились. Говорят, вас Раиса Захаровна в ординаторскую отправила. Спать.

Денис замер. Рука, державшая кабель, застыла в воздухе. Она знает про ординаторскую?

— И как вам спалось? — Лера приблизилась ещё. Теперь она стояла в полуметре — он чувствовал жар её тела, видел, как вздымается и опускается её грудь под халатом, как пульсирует жилка на шее — тонкая, голубая, беззащитная. — В ординаторской? На жёстком диване? Одному? Или не одному?

— Я... я просто спал. — Слова вышли жалкими, неубедительными, как оправдание школьника, пойманного за списыванием.

— Просто спал. — она усмехнулась, и в этой усмешке было что-то от кошки, играющей с мышью. Что-то от хирурга, который знает, где находится орган, который он собирается извлечь, и наслаждается моментом перед разрезом. — У вас на лице написано, что вы врётё. У вас очень выразительное лицо, Денис. На нём можно читать, как на рентгеновском снимке. Но я не буду допрашивать. По крайней мере, здесь.

Она развернулась и пошла к столу. Её бёдра двигались в ритме, который был знаком Денису по тому танцу на столе — медленный, обволакивающий, гипнотический ритм, от которого невозможно оторвать взгляд. Уселась. Снова надела очки. Стала вдруг официальной — но эта официальность была как тонкая шёлковая ткань, сквозь которую просвечивает обнажённое тело.

— Если хотите проверить кабели — проверяйте. — Она взяла ручку, покрутила в пальцах, и это движение тоже было исполнено какого-то скрытого, тайного смысла. — А если хотите проверить что-то другое — приходите вечером. В девятнадцать ноль-ноль. Я как раз заканчиваю. Выпьем кофе. Или чего покрепче. Поговорим. О помехах.

Она выделила последнее слово — чуть задержалась на нём, чуть понизила голос, — и у Дениса пересохло во рту так, словно он провёл ночь в пустыне Сахара, а потом ещё день.

— Хорошо, — сказал он. — Я приду.

— Я знаю, — ответила Лера. — Вы именно за этим сюда и пришли. Просто ещё не поняли.

И улыбнулась — на этот раз не как хищница, а как женщина, которая знает мужчин лучше, чем они знают себя. Как женщина, которая прочитала их всех, от корки до корки, и теперь перечитывает по второму кругу.

Весь день Денис не мог сосредоточиться.

Он чинил принтер в бухгалтерии и перепутал картриджи — чёрный вставил в цветной слот, а цветной попытался запихнуть туда, где ему не место, и теперь принтер плевался фиолетовыми полосами. Восстанавливал базу данных и случайно удалил таблицу с расписанием отпусков — теперь никто в больнице не знал, кто когда отдыхает, но это, казалось, никого не волновало: все были слишком заняты своими делами. Мысли крутились вокруг двух женщин, и каждая занимала свою половину его сознания, как две соседки по коммунальной квартире, которые не могут поделить общую кухню.

Одна — невидимая, безымянная, та, что растворилась в темноте ординаторской, оставив только платок с незабудкой и записки фиолетовыми чернилами. Та, что умела молчать так, как никто другой — абсолютно, совершенно, как молчат только призраки или святые. Та, чьи прикосновения были прохладными и точными, словно медицинская процедура, возведённая в ранг искусства. Та, чей запах был запахом стерильности — медицинский спирт, крахмал, чистота.

Вторая — Лера, которая смотрела на него как на добычу, и это было одновременно пугающе и возбуждающе. Лера, чья грудь под халатом дышала собственной жизнью. Лера, чей голос обещал то, о чём не говорят в приличном обществе, но о чём думают постоянно. Лера, от которой пахло дорогими духами и чем-то животным, первобытным, что пробивалось сквозь парфюм, как трава сквозь асфальт.

И загадка. «Лучи беззвучны, но говорят больше, чем слова». Рентген — это так очевидно. Слишком очевидно. И где-то в глубине сознания, под спудом желания и нетерпения, шевелилась мысль: а что, если она хочет, чтобы я пошёл именно туда? Что, если это ловушка? Что, если А.Д. — не та, кто работает в рентгене, а та, кто знает, что я туда пойду и кого я там встречу?

Но эта мысль была слишком сложной. Она требовала анализа, а Денис был не в том состоянии, чтобы анализировать. Он был в том состоянии, когда кровь говорит громче разума, а желание заглушает осторожность.

Ашот Гургенович заглянул в серверную ближе к обеду — заглянул вместе со своим животом, который, как всегда, опережал его на полшага, как авангард армии гедонизма. Его лысина блестела под лампами, усы топорщились в разные стороны, в руке дымилась сигара — дорогая, кубинская, с ароматом, который напоминал о восточных базарах и запретных удовольствиях.

— Что хмурый, как мышь на крупу? — он выпустил клуб дыма в потолок, и дым этот завис под лампой, подсвеченный зелёными огоньками серверов. — Коньячку? С утра — самое то для прояснения мыслей. Проверено поколениями.

— Нет, спасибо. Работаю.

— Работает он. — Ашот хитро прищурился, и его глаза-маслины блеснули в полумраке серверной. — Я тут слухи слышал. Будто ты в ординаторской в ночь банкета не один спал. А с кем — никто не знает. Но догадки строят. Женщины у нас — они как радары. Всё видят, всё знают. Даже то, чего не было. А уж то, что было — тем более. У них на такие вещи нюх, как у собак на сахарную косточку.

— Какие слухи? — Денис поднял голову, и сердце пропустило удар, потом ещё один.

— Разные. — Ашот улыбнулся в усы, и его золотой зуб сверкнул в полумраке, как намёк на то, что не все сокровища спрятаны в сейфах. — Но ты не бойся. В этой больнице тайны хранить умеют. Кроме одной. Но это уже другая история. И поверь мне — не самая весёлая.

Он развернулся и вышел, оставив после себя запах коньяка и дорогого табака — запах, который ещё долго висел в воздухе, смешиваясь с ароматом перегретого пластика. Денис остался сидеть в полном недоумении, глядя на дверь, за которой только что скрылся Ашот. Какая ещё история? Какая тайна? И почему все в этой больнице говорят загадками, намёками, полунамёками, оставляя его в дураках?

К вечеру Денис принял решение. Он пойдёт к Лере. Не только потому, что она позвала — потому что она была единственной зацепкой. Если А.Д. ведёт его в рентген-кабинет, значит, там что-то есть. Кто-то есть. Может быть, сама Лера и есть А.Д. — просто она не хочет признаваться прямо. Или она что-то знает о настоящей А.Д. В любом случае — это след. Единственный след, который у него есть. И глупо было бы им не воспользоваться.

Он поймал себя на том, что эта логика ему удобна. Слишком удобна. Он хотел пойти к Лере — и нашёл рациональное объяснение этому желанию. «Я делаю это ради расследования», — сказал он себе и почти поверил.

В девятнадцать ноль-ноль Денис стоял у двери рентген-кабинета.

Он переоделся — снял рабочий халат, остался в рубашке и джинсах. Рубашку на этот раз застегнул правильно — сказалось волнение. В руке — бутылка красного вина, купленная в магазине напротив. «На всякий случай», — сказал он себе, хотя прекрасно знал, для какого именно случая. Случай был именно тот, для которого покупают вино вечером, а не пиво и не коньяк.

Он постучал. Косточки пальцев ударили по дереву — гулко, решительно, как судьба, которая не принимает отказов.

— Войдите. — Голос Леры звучал как приглашение, от которого невозможно отказаться. Как медицинский предписание. Как рецепт на лекарство, которое может вылечить или убить — в зависимости от дозировки.

Она сидела за столом без халата. Шёлковая блузка глубокого винного цвета — в тон его бутылке, совпадение, которое она наверняка оценит, — обтягивала грудь так, что у Дениса на секунду сбилось дыхание. Буквально перехватило горло, и он забыл, как дышать. Юбка-карандаш, туфли на шпильке, губы тронуты тёмной помадой — цвета запёкшейся крови или переспелой вишни. Она была похожа на иллюстрацию из журнала «Плейбой», который случайно попал в медицинскую библиотеку и теперь лежит среди анатомических атласов, смущая студентов-медиков.

— О, с вином, — она улыбнулась, и улыбка эта была как медленный танец, как разлив патоки, как движение коньяка по стенке бокала. — Предусмотрительный мальчик. Садитесь.

Он сел напротив. Лера достала два стакана — не бокалы, не фужеры, а медицинские стеклянные стаканы для анализов, с мерными делениями на боку. Двадцать миллилитров, сорок, шестьдесят, сто. Градуировка интимности.

— Уж извините, — усмехнулась она, заметив его взгляд, — хрустали не держим. Но вино из них такое же вкусное. Почти. Мерные деления придают особый шарм. Знаете, это дисциплинирует — всегда видишь, сколько выпил. Никаких иллюзий. Никаких «я выпил всего бокал». Сразу видно: шестьдесят миллилитров. Двести сорок калорий. И никакого самообмана.

Она разлила вино. Плеснула щедро, не жалея — до отметки «60». Каберне цвета бычьей крови заколыхалось в стеклянных стаканах, оставляя маслянистые дорожки на стенках — длинные, вязкие, как время, которое тянется, когда ждёшь чего-то неизбежного.

— За что пьём? — спросил Денис. Голос прозвучал хрипло, как будто он только что проснулся.

— За разгадки. И за загадки. Они делают жизнь интереснее. Без них — скука смертная. Без них мы все — просто медицинские карты, которые заполняются от рождения до смерти без единого приключения. А с ними — хотя бы есть повод просыпаться по утрам.

Выпили. Вино было хорошее — терпкое, с ягодным послевкусием и долгим, бархатным финишем. Оно прокатилось по языку, обожгло нёбо и провалилось в желудок тёплой волной. Лера смотрела на него поверх стакана, и в её тёмных глазах плясали те самые адские огоньки, которые обещали рай и ад одновременно — и не обещали сообщить заранее, в каком порядке они последуют. Он чувствовал, как внутри него что-то сжимается и разжимается, как пульсирует кровь в висках — тук-тук-тук, как немеет язык, как ладони становятся влажными.

— Итак, Денис. — Она поставила стакан на стол, и стекло стукнуло о дерево с глухим, окончательным звуком. — Что вы ищете в рентген-кабинете? Кроме кабелей? Кроме помех? Кроме всего того, что вы придумали в качестве оправдания, пока шли по коридору?

— Я... — он помедлил. Правду? Полуправду? Ложь? Он выбрал правду — точнее, ту её часть, которую мог произнести вслух, не чувствуя себя полным идиотом. — Я ищу одну женщину.

— Только одну? — она засмеялась, и смех этот прозвучал резко, гортанно, как крик ночной птицы, как звон разбитого медицинского стекла, как вызов, брошенный тишине. — В больнице, где пятьсот женщин, вы ищете одну? Амбициозно. Глупо. И очень... мило. Мне нравится ваша целеустремлённость. Или это просто одержимость? Мужская одержимость, которая проходит через неделю?

— Эта женщина... особенная.

— Все мы особенные. — Лера перестала смеяться, и лицо её стало серьёзным, почти печальным. Тени легли под глазами, и на мгновение она стала старше, мудрее, уязвимее. — Просто не все это показывают. Некоторые прячутся за серыми костюмами. Некоторые — за очками в роговой оправе. Некоторые — за тишиной. А некоторые — наоборот. Выставляют себя напоказ, чтобы никто не догадался, что внутри — пустота. Что внутри — ничего, кроме желания быть замеченной.

Денис хотел что-то ответить, но она уже встала, обошла стол и села на подлокотник его кресла. Близко. Очень близко. Её бедро касалось его руки — горячее, упругое, живое, и сквозь ткань юбки он чувствовал жар её кожи. От неё пахло духами и ещё чем-то — чем-то животным, первобытным, что пробивалось сквозь дорогой парфюм, как пробивается трава сквозь асфальт, как пробивается правда сквозь ложь.

— Знаете, что я думаю? — сказала она тихо, почти шёпотом, и её дыхание коснулось его уха — горячее, влажное, с привкусом вина и чего-то ещё, что не имело названия. — Я думаю, вы ищете ту, кто была с вами в ординаторской. В ту ночь. Ту, которая не сказала ни слова. Ту, которая исчезла, не представившись. Ту, которая оставила вам только вопросы и, может быть, что-то ещё.

Денис замер. Сердце остановилось, потом забило втрое быстрее, пытаясь наверстать упущенное, и пульс грохотал в ушах, как барабан.

— Откуда вы...

— Я же говорю: я вижу людей насквозь. — она наклонилась ближе. Её губы оказались в сантиметре от его уха — он чувствовал их тепло, их влажность, их близость, от которой кружилась голова. Она не целовала — она дышала, и это было интимнее любого поцелуя. — Я вижу вас насквозь, Денис Капустин. Все ваши желания. Все ваши страхи. Все ваши тайны. Вы прозрачны, как рентгеновский снимок. Это была не я. Но это не значит, что я не хочу вас.

Она поцеловала его — не в губы, а в шею, туда, где пульсирует вена, где кожа тонкая и беззащитная, где бьётся жизнь, где сонная артерия несёт кровь к мозгу. Лёгкий, дразнящий поцелуй — как обещание, как угроза, как медицинская проба на чувствительность. Денис вздрогнул всем телом — от затылка до пят пробежала дрожь, горячая и холодная одновременно.

— Лера...

— Молчи. — Её губы двинулись выше, к мочке уха, и каждое слово она выдыхала прямо в его кожу. — Ты слишком много думаешь. Это мешает. Мысли — это враги чувств. Сейчас не время для анализа. Сейчас время для... эксперимента.

Её рука легла ему на грудь. Сквозь ткань рубашки он чувствовал жар её ладони — она горела, как печка, как радиатор, как больничная грелка, приложенная к самому сердцу. Потом рука двинулась ниже — медленно, мучительно медленно, расстёгивая пуговицы одну за другой. Методично, как медицинскую процедуру. Как будто она готовила его к операции. Или к вскрытию. Или к чему-то, что было одновременно и тем, и другим.

Денис поймал себя на мысли: «Это неправильно. Я ищу другую. Я должен искать другую. Та, в темноте, — она другая. У неё холодные пальцы. У неё другое дыхание. У неё другая тишина».

Но тело не слушалось. Оно отвечало на прикосновения Леры — отвечало инстинктивно, животно, без оглядки на разум. И в этом разрыве между желанием плоти и верностью призраку было что-то мучительное. И что-то сладкое.

— Ты хочешь знать, была ли это я? — прошептала Лера, и голос её вибрировал где-то у самого его уха, проникая под кожу, как лекарство. — Давай проверим. Устроим... сравнительный анализ. Я покажу тебе всё, что умею. Всё, чему научилась за годы практики. А ты сравнишь. И скажешь — я это была или нет. Идёт?

Она встала. Протянула ему руку. Ладонь была открыта вверх — приглашающий, но требовательный жест. Он взял её — пальцы у Леры были горячие, сухие, настойчивые, требовательные, совсем не такие, как у той, ночной. Та была прохладна и точна. Эта — горяча и ненасытна. Два разных полюса. Два разных мира.

Она повела его в смежную комнату, туда, где стояла кушетка для пациентов — жёсткая, с холодным дерматином, с ремнями фиксации по бокам. Ремни свисали безвольно, напоминая о том, что здесь лечат не только лучами. Над кушеткой висел рентгеновский аппарат — огромный, похожий на инопланетный механизм, на богомола из фантастического фильма, на орудие пытки из антиутопии. В полумраке он казался живым — казалось, он наблюдает за ними своим единственным, циклопым глазом излучателя.

— Здесь обычно лежат больные, — сказала Лера, улыбаясь, и улыбка её в полумраке была как вспышка молнии — ослепительная и пугающая. — Но сейчас больных нет. Только мы. И никто не придёт. Никто не узнает. Это будет наша маленькая медицинская тайна. Наш маленький эксперимент в закрытой лаборатории.

Она толкнула его на кушетку — не сильно, но решительно, и в этом движении было что-то от врача, который укладывает пациента перед процедурой. Он упал на спину, и холодный дерматин обжёг лопатки даже сквозь рубашку — холод проник под кожу, пробежал по позвоночнику, напомнил о той, другой ночи. Она нависла над ним — блузка уже расстёгнута, грудь в чёрном кружевном бюстгальтере вздымается часто и глубоко, глаза горят тёмным, неутолимым огнём, волосы упали вперёд, обрамляя лицо, как рама обрамляет картину.

— Сравнительный анализ, — повторила она, смакуя каждое слово, как дорогое вино, как последний глоток перед казнью. — Начинаем. Сейчас мы узнаем, та ли я, кого ты ищешь. Или нет. И если нет — что ж, может быть, ты поймёшь, что ошибка иногда бывает приятнее, чем правда.

И прежде чем Денис успел ответить — прежде чем он успел сказать «да», «нет» или что-то ещё, — она начала. И мысль о том, что А.Д. где-то там, в другом конце больницы, смотрит на него невидимыми глазами и, возможно, знает, где он сейчас и с кем, — эта мысль мелькнула и погасла, как лампочка рентгеновского аппарата, выключенного за ненадобностью.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЧАСТЬ II

В КОТОРОЙ НАШ ГЕРОЙ ПРОВОДИТ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, УЗНАЁТ КОЕ-ЧТО НОВОЕ О ЖЕНЩИНАХ И ПОЛУЧАЕТ ТРЕТЬЮ ЗАГАДКУ

То, что произошло дальше, было страстным. Очень страстным. Лера была огнём — диким, необузданным, жадным. Она не молчала ни секунды. С того самого момента, как её тело прижалось к его телу, и до последнего, финального содрогания — она комментировала, стонала, вскрикивала, шептала, командовала. Её голос заполнял комнату, как заполняет её свет рентгеновского аппарата — проникая всюду, не оставляя теней, не давая укрыться.

— Вот так, — шептала она, и её дыхание обжигало ему ухо, как горячий компресс. — Нет, не так. Вот так. Медленнее. Быстрее. Ещё. Ещё!

Это был не секс — это был мастер-класс. Или театральная постановка, в которой Лера была и режиссёром, и примой, и суфлёром одновременно. Её тело двигалось как пламя — непредсказуемо, всепожирающе, и Денис чувствовал себя мотыльком, который сам влетел в этот огонь и теперь сгорал в нём, не в силах вырваться. Она была сверху, и её бёдра двигались в том самом ритме, который Денис видел на банкете, — ритме заклинания, ритме публичного совокупления с воздухом, но теперь этот воздух обрёл плоть, и плоть эта принадлежала ему. Потом она оказалась снизу, и её ноги обвилились вокруг его поясницы с силой питона, а ногти впились в спину, оставляя красные борозды — как медицинские отметки, как подпись на документе, как автограф, который останется на коже несколько дней. Потом снова сверху, и её грудь раскачивалась перед его лицом, как маятник, гипнотизируя, лишая воли.

Её тело было совершенным инструментом — отлаженным, смазанным, настроенным на все регистры. Она знала, что делать, и делала это виртуозно — с той же уверенностью, с какой ставила диагнозы по рентгеновским снимкам. Каждое прикосновение было выверенным, каждое движение — точным. Она знала все эрогенные зоны мужского тела — не потому, что изучала их по учебникам, а потому, что родилась с этим знанием. Или приобрела его в результате долгой, разнообразной, не знающей отказа практики.

Но Денис ловил себя на том, что мыслями он не здесь. Его тело отвечало Лере — исправно, благодарно, даже жадно, — но где-то глубоко внутри, под слоем физических ощущений, работал компаратор. Сравнивал.

Та, в темноте ординаторской, была другой. Та была — тишина. Та была — нежность, скрытая за профессионализмом. Та была — приятие без условий, без слов, без демонстрации. Каждое движение Леры было криком: «Смотри на меня! Восхищайся мной! Помни обо мне!» А та, невидимая, двигалась так, будто не существовало никого, кроме него, Дениса. Будто она растворилась в нём, стала его тенью, его дыханием, его кровью. Будто она не брала, а давала. Не требовала, а служила.

Лера была фейерверком. Ярким, громким, ослепительным, сногшибательным. В её страсти была театральность — тот особый, почти оперный размах, который требует зрителей и аплодисментов. А та, ночная, была — глубокая вода. Тёмная, спокойная, бесконечная. В её

страсти была жертвенность — та особая, почти религиозная жертвенность, которая превращает физиологию в литургию, а тело — в алтарь.

И ещё — пальцы. У Леры они были горячие — почти обжигающие, как медицинская грелка, как компресс, как утюг, забытый на ткани. А у той — прохладные, сухие, удивительно точные. Лера касалась так, будто заявляла права на его тело: «Это моё. И это моё. И это тоже моё». А та — так, будто брала на себя ответственность за его наслаждение. Будто подписывала невидимый контракт, по которому обязалась доставить ему рай — и выполнила обязательства в полном объёме.

Этот контраст сказал Денису больше, чем все записки фиолетовыми чернилами. Этот контраст был ответом, который он искал. Не Лера. Определённо не Лера. Но он уже знал это до того, как она спросила.

Когда всё закончилось, Лера лежала рядом, тяжело дыша, и курила, пуская дым в потолок — серые, ленивые кольца, которые поднимались к лампам и таяли, как невысказанные слова. На её груди — той самой, третьего размера, упругой и наглой — блестели капельки пота, как утренняя роса на двух холмах, как слёзы, которые она никогда не прольёт. Её кожа пахла солью, духами и удовлетворением — терпким, животным, почти агрессивным запахом. Она смотрела в потолок, и в её глазах плясали отблески уличных фонарей, пробивающиеся сквозь жалюзи, — жёлтые, дрожащие, похожие на свечи в пустом храме.

— Ну что? — спросила она, не поворачивая головы. Голос звучал ровно, но в самой этой ровности было что-то напряжённое — как в натянутой струне, которая ещё не звенит, но вот-вот зазвенит. — Я прошла тест? Я та, кого ты ищешь? Или будем повторять до тех пор, пока результат не станет положительным?

— Вы... это было... невероятно. Правда невероятно. — Слова были жалкими, но искренними. Он не знал, как сказать правду, не причинив боли.

— Я не об этом. — она повернулась, оперлась на локоть, и её тёмные глаза встретились с его глазами. В них больше не было огня. Было что-то другое — трезвое, оценивающее, почти клиническое. Взгляд врача, который только что поставил диагноз и теперь решает, как сообщить его пациенту: сразу или подготовить. — Я была той, кого ты ищешь? Я — твоя таинственная незнакомка из ординаторской? Та самая, которая не сказала ни слова и оставила тебя с вопросами?

Денис помолчал. Врать он не умел — ложь застревала у него в горле, как рыба кость, и рвалась наружу вместе с предательским румянцем. Лера это видела. Лера всё видела.

— Нет, — сказал он честно. — Не вы.

Лера затянулась. Огонёк сигареты осветил её лицо — хищное, красивое, на мгновение беззащитное, и в этом кратком отсвете Денис увидел то, чего не замечал раньше: мелкие морщинки вокруг глаз, едва заметные, но красноречивые. Следы опыта. Следы разочарований. Медленно выпустила дым через нос, и две струйки дыма, как два призрачных пальца, потянулись к потолку, переплетаясь, как влюблённые, которым не суждено быть вместе.

— Я так и знала, — сказала она спокойно. Слишком спокойно. Так спокойно, что это спокойствие звенело, как натянутая струна, готовая лопнуть. — Ты спал со мной, но думал о ней. Я чувствовала это каждую секунду. Каждое твоё прикосновение было адресовано не мне. Каждый твой стон принадлежал ей. Знаешь, это чертовски унижительно. Лежать под мужчиной и понимать, что ты для него — всего лишь лабораторный образец. Контрольная группа. Материал для сравнения. Но я сама напросилась. Сама предложила этот дурацкий тест. Так что винить мне некого. Кроме себя и своей самонадеянности.

— Лера, простите... Я не хотел... — Слова застревали, путались, не складывались в убедительную конструкцию.

— Не извиняйся. — она затушила сигарету в стеклянном стакане из-под вина. Окурок зашипел, коснувшись остатков каберне, и погас, оставив после себя лишь запах горелого табака и мокрого пепла. — Извинения — это для слабых. А я не слабая. Я — трижды разведённая женщина, которая выжила после трёх мужей и одного любовника, который оказался хуже всех трёх вместе взятых. Меня не сломать извинениями. И не сломать отказом. Но запомни, Капустин: я не люблю проигрывать. И я не люблю, когда меня используют как материал для сравнительного анализа. Ты использовал меня — может быть, не специально, может быть, сам того не понимая, — но использовал. Пришёл сюда не ради меня. Пришёл ради неё. А я стала лабораторным образцом в твоём маленьком исследовании.

— Я не...

— Помолчи. — она подняла руку, и в этом жесте было столько властности, что Денис осёкся на полуслове. — Ты использовал меня, Капустин. И я этого не забуду. Я не мстительная — месть требует слишком много энергии, а я предпочитаю тратить её на удовольствия. Но я запоминаю. И однажды — может, через месяц, может, через год, — я напомню тебе об этом. Когда ты меньше всего будешь ждать. Когда тебе будет нужна моя помощь. И тогда — о, тогда мы посмотрим, кто кого использует.

Она встала, накинула блузку, не застёгивая. Шёлк скользнул по её плечам, как вода, как обещание, которое не будет выполнено. Подошла к окну, приоткрыла жалюзи — металлические планки звякнули, как хирургические инструменты в лотке. Серый уличный свет упал на её лицо, и на мгновение она показалась Денису старше, чем была на самом деле, — или, наоборот, моложе, беззащитнее. Женщина, которая выставляет себя напоказ, чтобы никто не догадался о пустоте внутри. Или не о пустоте. О чём-то, что она прячет за всей этой театральностью.

— А теперь иди. И ищи свою тайную незнакомку. Ищи её по всей больнице. Заглядывай в каждую дверь, под каждую маску, в каждую медицинскую карту. Но когда найдёшь — спроси у неё, почему она прячется. Почему она не может выйти на свет. Может быть, ей есть что скрывать. Может быть, она не такая уж невинная. Может быть, ты для неё — не первый. И не последний. Может быть, ты для неё — всего лишь фигура в игре, которую она ведёт уже много лет.

Денис оделся. Пальцы не слушались — пуговицы выскальзывали из петель, молния на джинсах заедала, и он дёргал её с глупым, почти комичным отчаянием. У двери обернулся. Лера стояла у окна, тонкая, прямая, как скальпель, и свет уличного фонаря обводил её силуэт серебряной каймой.

— Лера...

— Иди, Капустин. Пока я не сказала то, о чём пожалею. А я редко жалею о сказанном. Обычно я жалею о сделанном. А сегодня я сделала глупость. Дважды: сначала — позвав тебя, потом — поверив, что могу оказаться той самой.

Он вышел. Дверь закрылась за ним с тихим, деликатным шелчком — не хлопнула, не грохнула, а именно что деликатно защёлкнулась, как будто сама дверь сочувствовала ему. Из-за двери донеслось — тихо, но различимо, просочилось сквозь дерево и стекло, как вода сквозь марлю:

— Чёртов мальчишка.

И потом — тишина. Такая же глубокая, как в ординаторской. Но эта тишина была другой. В ней была горечь. В ней была злость. В ней была женщина, которая в очередной раз убедилась: её тело — это всё, что в ней ценят. А всё остальное — характер, ум, душа — не имеет значения.

Больница спала. Ночные лампы отбрасывали длинные, искажённые тени, и тени эти сплетались на стенах в причудливые узоры — словно обсуждали Дениса за его спиной, словно перешёптывались о его грехах. Он шёл по коридору, и эхо его шагов разлеталось в разные стороны — влево, вправо, вверх, вниз. Пустые коридоры звучали как орган. Или как склеп.

Он не хотел делать Лере больно. Он вообще никому не хотел делать больно. Но она сама... или он сам? Кто кого использовал?

И тут — где-то в пустом коридоре, под монотонный гул ламп дневного света — его пронзила новая мысль. Острая, холодная, как скальпель. А что, если всё это — не его расследование? Что, если это А.Д. ведёт его? Она дала загадку про лучи — и он пошёл в рентген-кабинет. Она знала, что там Лера. Знала, что Лера попытается его соблазнить. Знала, что он согласится. Знала, что он сравнит и поймёт разницу. И теперь он действительно понимает разницу между огнём и водой, между криком и молчанием, между страстью-демонстрацией и страстью-служением.

Может быть, каждая ошибка — не ошибка? Может быть, его ведут через ложные цели к чему-то большему? Может быть, каждая женщина, которую он встречает на пути, — это урок? Алёна — урок нежности. Лера — урок страсти. И кто дальше? Вероника — урок смерти? Или урок того, что скрыто под поверхностью?

Кем бы ни была А.Д., она была гениальным стратегом. Или гениальной мучительницей. Или и тем, и другим одновременно.

Он не заметил, как уснул прямо за столом в серверной. Голова упала на скрещенные руки. Снизлась ему темнота. И тишина. И прохладные пальцы на запястье — тонкие, цепкие, не дающие пошевелиться. И голос — беззвучный, но внятный: «Ты приближаешься. Но ты ещё далеко. Ты идёшь по кругу. Но круг — это тоже путь».

Утро началось с головной боли — тупой, пульсирующей, разместившейся где-то за правым глазом, как квартирант, который не платит за жильё.

Денис открыл глаза. Шея затекла так, что повернуть голову можно было только вместе с плечами — единым монолитным блоком, как у робота. Спина ныла — стул в серверной не был предназначен для сна, а его спина не была предназначена для таких стульев. За окном светало — серый, безрадостный рассвет, разбавленный водой из низких облаков. Серверы гудели, мигали зелёными огоньками — бессонные, бдительные, всё знающие. Или ему казалось, что знающие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.